

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

МАРТ
СЕМНАЦАТОГО
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 3.
Март Семнадцатого. Книга 1**

«WebKniga»

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 1 /

А. И. Солженицын — «WebKniga», — (Собрание сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1045-8

В первой книге «Марта Семнадцатого» описаны начальные дни Февральской революции в Петрограде: последние прения в Государственной Думе; разгон уличных демонстраций, стрельба; бунт запасных батальонов; растерянность Совета министров; Ленин в Цюрихе; Государь в Могилёве. Первые аресты чиновных лиц в Петрограде.

ISBN 978-5-9691-1045-8

© Солженицын А. И.

© WebKniga

Содержание

Узел 3	5
Двадцать третье февраля	5
1	5
2	10
3	16
4	31
5	35
6	39
7	43
8	45
Двадцать четвёртое февраля	48
9	48
10	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Александр Солженицын
Красное колесо
повествование в отмеренных сроках

Узел 3
Март Семнадцатого
Книга 1

Двадцать третье февраля
Четверг

1

*В Царском Селе после смерти Распутина. – Перемены
в правлении. – Одиночество царской четы. – Пора и в
Ставку. – Показать властную руку! – Путевой покой.*

В замкнутой тишине Царского Села Николай провёл шестьдесят шесть дней подле Аликс, своим присутствием смягчая ей безмерное горе потери. (К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из Ставки.)

От тревожной, мятущейся, убитой горем Аликс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживёшь.

И ещё одна беда – что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Аликс. Они и всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но, щадя чувство и веру Аликс, Николай никогда не настаивал на своём. А теперь – не могла Аликс отпустить мужу, что он не предал убийц суду.

Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с Главнокомандующими о плане кампании Семнадцатого года Государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина – он, грешным образом, внутренне даже скорей облегчился: столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен, – и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал, без того, чтобы Государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Аликс. Всё отпадало – само собой.

Простодушно же он настроился! Не представлял он, что почти тотчас ему придётся покидать и тот военный совет, столь долго устроившийся, и Ставку – и мчаться к Аликс на целых два месяца – и заслужить град упреков: что это – он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довёл до самой возможности такого убийства, а затем – и не желает наказывать убийц.

Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека.

И действительно: убийство было как убийство, долгая травля и злые языки перешли в яд и пистолетные выстрелы, – и не было никаких смягчающих обстоятельств, почему бы не

судить. Но то, что жало укола выдвинулось из самой близости, из великокняжеской среды, и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, взращённого почти как сын, любимого и балуемого (берёт его при Ставке, не посылал в полк), – обезсиливало Государя. Чем невыразимей и родственней была обида – тем безсильней он был ответить.

Кто из монархов так попадал? Лишь отдалённый, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние – образованные и безбожные – были враждебны, и даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных.

И разительна была враждебность внутри самой династии: все ненавидели Аликс. Николаша с сёстрами-черногорками – уже давно. Но – и Мамá была против неё всегда. Но – и Елизавета, родная сестра Аликс. И уж конечно лютеранка тётя Михен не прощала Аликс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили её сыновья, или Кирилл или Борис. И затем проявившаяся этой осенью и зимой вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью наставляющих императорскую чету, как им быть, – и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно правительство, угодное Думе. Что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий: если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. Когда им плохо, они уезжают в Биарриц, в Канны. Император лишён такой возможности.

Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обагрены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твёрдости – ответить судебным ударом. И Мамá просила – не возбуждать следствия. Николай не мог найти в себе безжалостной воли – преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что Николай решился сделать: определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию – в Персию, а Пуришкевичу – даже ничего и не досталось, уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эти мягкие меры были встречены бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи, а Сандро приехал и прямо кричал на Государя, чтобы дело об убийстве прекратить.

Они – совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду!

А тут – дышала гневом Аликс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство и семью.

И легла и протянулась на все эти два месяца в Царском – небывалая прежде, длительная тягость между ним и Аликс, неуходящая обида. Уж Николай старался в чём только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут в Царском, на аниной земле. И, ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари её, – хоронили Распутина ночью, при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым нёс гроб. И всё равно – не смягчалась Аликс до конца, так и осталось её сердце с тяжестью. (Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу – пока восстанется на том месте и закроется часовня.)

Так страстны и настойчивы были от Аликс упреки в слабости, царской неумелости, – потряслось доверие Николая к самому себе. (А его-то и никогда не было прочного от юности, во всём он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил, – убедился он: приносят тем войскам боевую неудачу.) И даже маленький Алексей, ещё совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: «Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь

убийцу Столыпина повесили!» И в самом деле: почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости – отца своего? Своего прадеда?

После убийства Григория тем более не мог Государь ни в чём идти на уступки своим противникам и обществу: подумали бы, что вот – освободился из-под влияния. Или: вот, боится тоже быть убитым.

Под упрёками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет твёрд и настоит на исполнении своей воли! Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Аликс (и равнодушно-нерасторопного при убийстве Распутина), и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он – жёсткий и чужой. И назначил премьером – милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Аликс по делам военнопленных. И не дал в обиду Протопопова. Затем, под Новый год, встряхнул Государственный Совет, сменил часть назначаемых членов на более надёжных, а в председатели им – Щегловитова. (Даже в этом гнездилище умудрённых почётных сановников Государь потерял большинство и не мог влиять: не только выборные члены, но и назначаемые всё разорительней играли либеральную игру и здесь.) Вообще намерился он наконец перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит, – и показать, что Россия отлично примет эти назначения.

Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами – земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чьё поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для Государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши, – теперь написал всеподданнейше, что эти съезды и всё улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов – другую такую же. Не дремали верные, что ж поддался душою Государь?

А тут ещё со многих сторон, и от дяди Павла, поступали сведения, что повсюду в столице, и даже в гвардии, открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля зрела у Государя мысль – нанести опережающий удар: вернуть на места своих лучших, твёрдых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать её до конца 1917 года, когда будет выбираться новая Пятая. И уже поручил он Маклакову – составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал.

Но тут же, как всегда, обезсиливающие сомнения одолели Государя: а нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли – мирно, как оно само течёт, не обращая особого внимания на забияк?

О перевороте? Так это же всё болтовня, во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию. И Армия – безпределно верна своему Государю. Истинной опасности нет – и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имён заговорщиков Департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да ещё во время войны, трогать нельзя.

Никогда ещё вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров – но и их тоже, тем более, ненавидело общество. И верные тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечёт. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья на малолюдных обедах, чаях, то приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да ещё оставались неповторимо разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка: на снеговых моторах. А по

вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибалывать.

Аликс же эти два месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория, – и этой своей верностью горю каждый день как бы ещё и ещё упрекала Николая.

Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая, и так, нетревожимо замкнутый, он мог бы прожить и год, и два. Не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако, по соседству теперь со столицей, не мог он в эти девять недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников, у Николая не было желания появляться в её суе, и от России старшим там действовал генерал Гурко, зато изрядно надоедал Государю долгою и резкостью своих докладов. (Но пришлось принять в Царском делегатов конференции, – и так сжался Николай, так мучился – чтоб ещё они не стали ему давать советов по внутренней политике.) Ещё каждый будний день Государь принимал у себя двух-трёх-четырёх министров или видных деятелей, с большим удовольствием – симпатичных ему.

Но оттого ли, что нота погребальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыдания по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины, – наконец стало потягивать Николая к немудрёной, непринуждённой жизни в Ставке, к тому ж и без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил (жена его, дочь присяжного поверенного, дважды уже разведенная, не допускалась, не признавалась) и говорил, что в армии растёт недовольство: отчего Государь так долго отсутствует из Ставки. Где-то появился даже и слух, что на Верховное Главнокомандование снова вступит Николаша.

Да неужели? Вздор какой, но опасный вздор. Действительно, пора ехать. (Тут ещё так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в Ставке было коротким: тезоименитство своё он проводил с семьёю в Царском, вернулся в Ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор.)

Но – совсем не легко было отпроситься у Аликс. Ей невместимо было понять, как он может её покинуть в таком горе и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю, и даже меньше, – чтобы к несчастливой для Романовых первоапрельской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял.

А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничто не грозит, и Государь спокойно может ехать.

Когда уже решён был отъезд – вдруг спала и эта тяжесть упрёка, разделявшая их два месяца. Аликс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить, а кого заменить, – и особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексева в Ставку после долгой болезни: зачем? не надо бы. Он – гучковский человек, ненадёжный. Наградить бы его – и пусть почётно отдыхает.

Но Николай любил своего работающего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым? Так и Гурко, на той же должности, сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым. И был связан с Думой. (И вот, десять дней назад, на докладе в Царском, налетел вихрем, голос как иерихонская труба: «Государь, вы губите и семью и себя! что вы себе готовите? чернь церемониться не станет, отставьте Протопопова!» – такого бешеного не бывало при Николае рядом, он уж раскаивался, что согласился взять его.)

Вчера после полудня Николай ехал на станцию – как всегда под звон Фёдоровского собора, они оба с Аликс вдохновлялись колокольным звоном. По пути заехали к Знаменью приложиться.

Как раз прояснилось – и яркое, морозное, радостное солнце обещало добрый исход всему.

А в купе Николая ждала приятная неожиданность (впрочем, и обычный меж ними приём): конверт от Аликс, положенный на столик при дорожных принадлежностях. Жадно стал читать, по-английски:

«Мой драгоценный! С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого, нежного Бэби. Бог послал тебе воистину страшно тяжёлый крест. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя – так Он ещё ближе к нам.

Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь твёрд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, – дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут!» Это странно, но такова славянская натура: величайшая твёрдость, жестокость даже, и – горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя – любви одной мало. Надо играть поводами: ослабить их, подтянуть...»

Кнут? – это ужасно. Этого нельзя представить, ни выговорить. Ни замахнуться. Если *этой* ценой быть царём – то не надо и совсем.

Но быть твёрдым – да. Но показать властную руку – да, это необходимо, наконец.

«Надеюсь, ты *очень* скоро сможешь вернуться. Я знаю слишком хорошо, как «ревушие толпы» ведут себя, когда ты близко. Как раз теперь ты *гораздо* нужнее здесь, чем там. Так что вернись домой дней через десять. Твоя жена – твой оплот – неизменно на страже в тылу.

Ах, одиночество грядущих ночей – нет с тобой Солнышка и нет Солнечного Луча!»

Ах, дорогая! Сокровище моё!..

И как отлегло от сердца, что снова нет тучек меж нами. Как это подкрепляет душевно.

Как всегда, в пути по железной дороге Николай с удовольствием читал, отдыхая и освежаясь, в этот раз по-французски – о галльской войне Юлия Цезаря, хотелось чего-нибудь вчуже от современной жизни.

Снаружи холодно было, да как-то не хотелось и двигаться, за всю дорогу не вышел из вагона нигде.

Николай замечал не раз: наше спокойствие или беспокойство зависят не от дальних, хотя бы и крупных событий, а от того, что происходит непосредственно с нами рядом. Если нет напряжённости в окружении, в ближайших часах и днях, то вот на душе и становится светло. После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании, читать и не иметь необходимости кого-то видеть, с кем-то разговаривать.

А уже поздно вечером перечитал любимый прелестный английский рассказ о Голубом Мальчике. И, как всегда, выступили слезы.

ДОКУМЕНТЫ – 1

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ. Телеграмма.

Ставка, 23 февраля

Прибыл благополучно. Ясно, холодно, ветрено. Кашляю редко.

Чувствую себя опять твёрдым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе. Тоскую ужасно.

Ники

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ

Царское Село, 23 февраля

(по-английски)

Ну вот – у Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы едим в красной комнате. Представляю себе твоё ужасное одиночество без милого Бэби. Ему и Ольге грустно, что они не могут писать тебе, им нельзя утомлять глаза. ...Ах, любовь моя, как печально без тебя – как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев, безценное сокровище моё, думаю о тебе без конца. Надевай же крестик иногда, если будут предстоять трудные решения, – он поможет тебе.

...Осыпаю тебя поцелуями. Навсегда

Твоя

2

Уличные сцены в Петрограде.

Экран

В петербургском обокраденном небе,
клочках и дорожках его между нависами безрадостных фаб-ричных
крыш –

пробилось солнце. Солнечный будет день!

Гул голосов.

= И даже тёплый. Платки с женских голов приоткинута, руки без
варежек, никто не жмётся, не горбится, свободно крутятся

в хвосту, человек сорок,

у мелочной лавки с одной двёркой, одним оконцем.

А из двёрки вытаскивается кто уже купил. А несут и один, и другой – по
две, по три буханки ржаного хлеба,

большие, круглые, умешанные, упеченные, с мучным подсыпом по
донцу, –

ах, много уносят!

Много уносят – так мало остаётся! И не втиснешься туда, так глазами
через плечи иль со стороны через окно:

– Белого много, бабы, да кому он к ляду. А ржаной кончается! Не, не
достанется нам.

– Бают, ржаную муку совсем запретили, вытекать боле не будут. Будет
хлеба по фунту на рыло.

– Куда ж мука?

– Да царица немцам гонит, им жрать нечего.

Загудели пуще бабы, злые голоса.

Старик рассудительный, с пустым мешком под мышкой:

– Да и лошадей кормить не стало. Овса в Питер не пропускают. А
лошади, ежели ёе на хлебе держать, так двадцать фунтов в день, меньше
никак.

А из двёрки – баба. И руками развела на пороге: нету, мол.

Сразу трое туда полезли очередных, да не вопрёшься.

Закричала остроголосая:

– *Так что мы? зря стояли?*

Платок сбился, а руки свободные. Глаза ищут: чего бы? чем бы?

= *Льда кусок, отколотый, глыбкой на краю мостовой.*

Примёрз? Да нет, берётся.

Схватила и, по-бабьи через голову меча, руками обеими – швырь!!

= И стекольце только – брыз!

Звон.

на кусочки!

= Заревел приказчик, как бугай, изнутри, через осколки,

а по нему откуда-то – второю глыбкой! Попало, не попало –

а всё закрутилось! суета! Суются в двери туда, сколько влезти не может.

Общий рёв и стук.

А из битого окна – кидают чего попало, прямо на улицу, нам ничего не нужно: булки белые!

свечи!

головки сырные красные!

рыбу копчёную!

синьку! щётки! мыло бельевое!..

И – наземь это всё, на убитый снег, под ноги.

* * *

Возбуждённый гул.

= *Валят рабочие размашистой гурьбой по бурому рабочему проспекту.*

К гурьбе ещё гурьба из переулка. Много баб, те посердитей.

Валит толпа уже в сотен несколько, сама не зная, ничего не решено, мимо одноэтажного заводского цеха.

Оттуда посматривают, через стёкла, через форточки. Им тогда:

– *Эй, снарядный! Бросай работу! Присоединяйся.*

Хлеба!!

Остановились вдоль, уговаривают:

– *Бросай, снарядный! Пока хвосты – какая работа? Хле-ба!*

Чего-то снарядный не хочет, даже от окон отходит.

– *Ах вы, суки несознательные! Да у вас своя лавка, что ль?*

– *Значит, что ж, каждый сабе?*

На ступеньки вышел плотный старый мастер, без шапки:

– *Что фулиганите? У каждого своя голова. Себе в сусек, что ль, снаряды складываем?*

А в него – ледяным куском:

– *Своя голова?*

Схватился мастер за голову.

Гогот.

= *Гурьба рабочих-подростков.*

Побежали! как в наступление!

И в широких раскрытых заводских воротах – что с этой оравой поделаешь? – стóброжа обежали, закрутили его,

полицейского – обежали –

и-и-и! по заводскому двору!
и-и-и! во все двери, по всем цехам!
Голоса из детского хора:
– *Бросай работу!.. Выходи на улицу!.. Все на улицу!.. Хле-ба!.. Хлеба!..*
Хле-ба!..
= Сторож схватился ворота заводить,
высокие сильные полотнища ворот вместе свести,
а уже и здоровых рабочих полсотни бежит снаружи –
да с размаху! –
скрежет,
и одно полотнище сорвалось с петли, зачертило углом,
перекособочилось,
теперь все вали, кто хошь.
Полицейский – руки наложил на одного,
а его самого – палкой, палкой!
Гул голосов.

* * *

= Большой проспект Петербургской стороны. Пятиэтажные дома как
слитые, неуступные, подобранные по ранжиру. Стрельная прямизна.
Дома все – не простые, но с балконами, выступами, украшенными
плоскостями. И – ни единого дерева нигде. Каменное ущелье.
А внизу – булочная Филиппова, роскошная. В трёх окнах – зеркальные
двойные стёкла, за ними – пирожные, торты, крендели, ситники.
Молодой мещанин ломком размахнулся, –
от него отбежали, глаза защитили, –
а вот так не хочешь?
Брыз! – стекло зеркальное.
И – ко второму.
Брыз! – второе.
И – повалила толпа в магазин.
= А внутри – всё лакированное, да обставленное, не как в простых
лавках.
Чёрный хлебец? – тут утеснён. А буханки воздушные! А крендели! А
белизна! А сладкого!..
А вот так – не хочешь? – палкой по стеклянному прилавку!
А вот так не хочешь? – палкой по вашим тортам!
Отшарахнулась чистая публика, обомлелая.
И продавцы – не нашлись, разинулись.
Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём – и вы не жрите!
Не доводите, дьяволы!!..

* * *

Позванивая,
= от Финляндского вокзала по переулку, через суету возбуждённого
народа на мостовой, пробирается трамвай.
Группка рабочих стоит, забиячный вид. Чертыхнулись:

– Ну куда прёшь, не видишь?

Вожатый трамвая стоит на передней площадке за стеклом, как идол, и длинной ручкой крутит в своём ящике.

Догадка! Один рабочий вскочил к нему туда, на переднюю площадку – не понимаешь по-русски? Отпихнул его, сорвал с его ящика эту ручку – как длинный рычаг накладной – и, с подножки народу показывая, над головой трясая длинную вагонную ручку! – соскочил весело.

Видели! Поняли! Понравилось!

Остановился трамвай, нет ему хода без той ручки.

Глядит тремя окнами передними, и вагоновожатый посередке, лбом в стекло.

= Хохочет вся толпа!

* * *

= А на Невском – какое же гулянье, в легкоморозный солнечный денёк! Да какие же санки лихие проскакивают. С колокольчиками!

Сколько публики на тротуарах, и самая чистая: дамы с по-купками, с прислугой, офицеры с денщиками. Господа разные. Оживлённые разговоры, смех.

Даже что-то слишком густо на тротуарах. На мостовой – всё прилично, никто не мешает извозчикам, трамваям, а на тротуарах стиснулись – как не гуляют, а в демонстрацию прут.

А-а, да тут и мешчане, и мастеровые, и простые бабы, и всякая шерсть, втесались в барскую толпу, это среди рабочего-то дня, на Невском!

Но и чистая публика ими не брезгует, а так вместе и плывут, как слитное единое тело. И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:

– Хле-е-еба... Хле-е-еба...

Переняли у баб-работниц, переобразили в стон, и все теперь вместе, всё шире, кто ржаного и в рот не берёт, а стонут могильно:

– Хле-е-еба... Хле-е-еба...

А глазами хихикают. Да открыто смеются, дразнят. Петербургские жители всегда сумрачные – и тем страннее овладевшая весёлость.

А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают-барабанят, балуются:

– Дай! – те! – хле! – ба! Дай! – те! – хле! – ба!

= Там-сям наряды полиции вдоль Невского. Обезпокоенные городовые. Где и конные.

А – ничего не поделаешь, не придерёшься. Это как будто и не нарушение. Глупое положение у полиции.

* * *

= А по Невскому, по сияющей в солнце стреле Невского, в веренице уходящих трамвайных столбов –

этих трамваев, трамваев что-то слишком густо, там какая-то помеха, не проедешь:

цепочкой стоят один за другим. Публика из окон выглядывает, как дура, не знает, что дальше будет.

Передняя площадка одна пустая.

Другая пустая, и переднее стекло выбито.

А по мостовой идут пятеро молодцов, мастеровые или мещане, с пятью трамвайными ручками, длинными!

и размахались ими, как оружием,

под общий хохот. С тротуаров чистая публика – смеётся!

= Помощник пристава, это видя,

деловито, быстро пробирается меж толпы –

уверенно идёт, как власть, по сторонам не очень и смотрит,

ничего дурного не ждёт, а если ждёт, так отважен, –

протянулся отобрать ключ у одного –

а сзади его по темени – другим ключом!

да дважды!

Крутанулся пристав и свалился без сознания,

вниз, туда, под ноги. Нету.

= Хохоchet, хохоchet чистая нельская публика! И курсистки.

* * *

= Ребристый купол Казанского собора.

Знаменитый сквер его между дугами античных аркад

забит публикой, всё с тем же весёлым вызовом лиц и заунывным стоном:

– Хле-е-еба... Хле-е-еба...

Понравилась игра. Барские меховые шапки, котелки, модные дамские шляпки, простые платки и чёрные картузы:

– Хле-е-еба... Хле-е-еба...

= А по бокам собора стоят наряды драгун, на добрых крупных конях.

И офицер их, спешенный, поговорив с высоким полицейским чином,

вскакивает в седло, даёт команду

не очень громко, толпе не слышно, –

и драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом,

и так по полудюжине, в одном месте, в другом,

наезжают на тротуары! прямо на публику!

конскими головами и грудями, взнесенными как скалы!

а сами ещё выше! –

но не сердятся, не кричат, и никаких команд, –

а сидят там, в небе, и наезжают на нас!

= Деваться некуда, разбегается публика всех состояний, шарахается волной –

прочь от сквера, в соседние проезды,

в парадные, в подворотни. Кто в снежную кучу врюхнулся.

Свист из толпы.

И – гордо кони выступают по пустым местам.

Но как съедут, – на эти же места и на тротуары – снова толпа.

Правила игры! Никто ни на кого не сердится. Смеются.

= А подле Екатерининского канала, по ту сторону Казанского моста – полусотня казаков, донцов-молодцов – с пиками.

Высоко! Стройно! Страшно! Лихие, грозные казаки с коней косо посматривают.

К офицеру подъехал в автомобиле большой чин:

– *Я – петербургский градоначальник генерал-майор Балк. Приказываю вам: немедленно карьером – рассеять эту толпу – но не применяя оружия! Откройте путь колёсному и санному движению.*

= Офицер – совсем молоденький, неопытный. Смущённо на градоначальника.

Смущённо на свой отряд. И вяло, так вяло, не то что карьером – удивительно, что вообще-то подтянулись, с места стронулись

шагом, а пики ровно кверху,

шагом, кони скользят копытами по накатанной мостовой, через широкий мост и по Невскому.

Градоначальник из автомобиля вылез – и рядом пошёл.

Идёт рядом – и не выдерживает, сам командует:

– *Ка-рьер!*

Да разве казаки чужую команду примут, да ещё от пешего?

Ну, перевёл офицерик свою лошадь на трусцу.

Ну, и казаки, так и быть.

Но чем ближе к толпе – тем медленнее...

Тем медленнее... Не этак пугают... Пики – все кверху, не берут наперевес.

И, не доходя, совсем запнулись. И

радостный тысячный рёв!

заревела толпа от восторга:

– *Ура казакам! Ура казакам!*

А казакам это внове, что им от городских – да «ура».

А казакам это в честь.

Засияли.

И – мимо двух Конюшенных дальше проехали.

= Но и толпа ничего не придумала:

митинг – не начинается, ни одного жожака нет, – вдруг грозный цокот,

лица испуганные – в одну сторону:

= с Казанской улицы, огибая по большой дуге собор и стоящие трамваи,

громче цокот!

разъезд конной полиции, человек с десятков – но галопом!

но галопом!! рассыпаясь веером, а шашек не обнажая – га-лопом!!!

= Страх перекошенный! и – не дожидаясь!

кинулась толпа, рассыпались во все стороны, –

как сдунуло! Чистый Невский – и аж до Думы.

= И шашек не обнажали.

3

(Хлебная петля)

Продовольствие или общая политика? – «Власти нет!» – Меры Риттиха. – Хлебная развёрстка. – Заседание Думы 14 февраля. – Речь Риттиха отклонена. – Милюков выставляет диаграмму. – Продовольствие и банки. – Риттих отвечает на диаграмму. – Городские комитеты и «аграрии». – Стягивается петля. – Как привыкли смотреть на деревню. – И в каком она состоянии. – Тень реквизиций. – Просчёт с твердыми ценами. – С крестьянской стороны. – Шингарёв выполняет партийный долг. – Исповедь Риттиха. – Упразднить правительство! – Там, где хлеба не молотят.

В ноябре 1916 сквозь великие сотрясательные думские речи, сквозь частокол спешных запросов, протестов, столкновений и перевыборов Государственная Дума всё никак не добиралась до продовольственного вопроса, да и слишком частное значение имел этот вопрос перед общею политикой. В конце ноября назначен был какой-то ещё новый временный министр земледелия Риттих. Он попросил слова и почтительно извинился перед Думою, что ещё не успел вникнуть в дело и не может доложить о мерах. Его поругали, как всякого представителя правительства, но даже лениво, ибо сами ничего не ждали от собственной думской дискуссии, если она будет слишком конкретной. Да, продовольственный вопрос был важен, но не в конкретном, а в *общем* смысле, – и главное пламя политики уметнулось из Таврического дворца, скованного думской процедурой. Главное пламя политики, перебегая по обществу, взрывало то там, то здесь, даже больше в Москве. Там на начало декабря было назначено три съезда, и все три по продовольствию: собственно Продовольственный съезд и съезды земского Союза и Союза городов (не говоря о многих других одновременных общественных совещаниях; как шутили тогда: если немец превосходит нас техникой, то мы победим его совещаниями).

О продовольствии говорилось с дрожью голоса, – и правительство не смело запретить Продовольственного съезда, хотя и ему и собирающимся было понятно, что не в продовольствии дело, продовольствование России и без нас всегда как-то происходило, и как-нибудь произойдёт, – а в том дело, чтобы, собравшись, обсудить прежде всего *текущий момент* и как-нибудь порезче выразиться о правительстве, *раскачивая* обстановку. (Предыдущая революция показала, что её можно достичь только непрерывным раскачиванием.) Тоже всё это зная, правительство в этот раз набралось храбрости запретить два остальных съезда прежде их начала. Толпились на тротуаре Большой Дмитровки городские головы, земские деятели, именитые купцы, съехавшиеся со всей России, а полиция не пускала их в здание. Пока князь Львов составлял с полицией протокол о недопущении, земские уполномоченные перешушукались, утекли в другое помещение, на Маросейку, и там «приступили к занятиям», то есть опять-таки не к скучной продовольственной части, но к общим суждениям о *политическом моменте*. В подготовленной произнесенной речи князя *Львова* было:

На самом краю пропасти, когда, может быть, осталось несколько мгновений для спасения, нам остаётся воззвать только *к самому народу*. Оставьте попытки наладить совместную работу с нынешней властью!..

Отвернитесь от призраков! – *власти нет, правительство не руководит страной!*

И похоже было, что – так. (Как выразился Щегловитов, «паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции».) Всё более вырастающий в первого человека России князь Львов, бурно приветствуемый, нагнал заседание своих земцев на Маросейке, и принятая там резолюция была ещё резче его речи. Съезды Союзов, избегая разгона, собрались на частных квартирах – и полиция не сразу решилась нарушить неприкосновенность жилища. Когда же пришла, резолюции уже были приняты или голосовались тут же, при полиции:

...Режим, губящий и позорящий Россию... Безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, готовят ей поражение, позор и рабство!.. Этой безсовестной и преступной власти, дезорганизовавшей страну и обезсилившей армию, народ не может доверить ни продолжения войны, ни заключения мира.

И правда, что ж оставалось власти? Либо тут же уйти (а пожалуй, уже так было запущено и допущено, что хоть и уйти), либо всё-таки эти съезды запретить?

А ещё собрался в декабре и съезд промышленных деятелей, и тоже обсуждать продовольственный вопрос. И на хвосте тех программных пылающих резолюций нашлось два слова для начинаний Риттиха:

новые меры правительства только довершают расстройство.

Ибо это правительство никогда не найдёт выхода ни в чём.

А скромный, малоизвестный Риттих возмерился и взялся вникнуть в подробности и выход найти. С первых же дней вступления в должность он установил: что хлеба заготовлена одна двенадцатая того, что нужно: сто миллионов пудов вместо миллиарда двухсот; что все партии и вся печать уже отговорили, что хотели, о твёрдых ценах, и забыли о них, – но твёрдые цены нависли над хлебным рынком, заперли его, и торговый аппарат безсилен извлечь хлеб из амбаров; позднеосенний съезд сельских хозяев, где было много председателей земств, кооперативов и крестьян, настаивал на повышении хлебных цен – так, чтобы эти цены оплатили стоимость производства, труда и ещё провоз от амбара до станции, который по ценам деятелей Прогрессивного блока предполагался нетрудоёмким и даже несуществующим, оплачивался, так и быть, за 20 вёрст доставки, хотя везли и 90, да по бездорожью.

Но повышать цены этою зимой было уже упущено: деревня только ждала бы ещё более высоких. Гужевой же транспорт от амбара до станции Риттих сразу, с 1 декабря, взял на себя смелость оплатить («франко-амбар», то есть цена считается у амбара, а доставка сверх), – за что был тогда же гневно разруган в Государственной Думе: «Вы ломаете твёрдые цены!» Эта мера Риттиха заметно увеличила приток хлеба, но не настолько, чтобы, с прочным запасом, накормить русскую армию и русский тыл до осени 1917. Твёрдые цены оставались ниже рыночных, и когда по установившейся зимней дороге зерно высывалось из деревни в город, оно тут же поворачивало назад в деревню и исчезало там. Частная торговля разыскивала там его, но – по высоким ценам. И призрак *хлебной повинности* или хлебной развёрстки заколыхался перед свежим министром земледелия. И у него достало решительности сделать этот шаг, уже не им одним прозреваемый в русском воздухе.

Риттих вовсе не намеревался отбирать хлеб силою, это было бы по русским традициям святотатственно и для русского правительства позором: как же можно – не купить хлеб, а отобрать у того, кто его вырастил? Хлебная повинность – ужасная мера принуждения, не вмещающаяся в русские умы. Нет, идея Риттиха сводилась

к тому, чтобы доставку хлеба перевести из области простой торговой сделки в область исполнения гражданского долга, обязательного для каждого

держателя хлеба. Объяснить населению, что исполнение этой развёрстки является для него таким же долгом, как и те жертвы, которые оно столь безропотно несёт для войны.

В развёрстку вошли: потребности армии, пуд в пуд, и рабочих оборонных заводов с их семьями (как уже и снабжали на многих заводах). Крупные же центры и непроезжие губернии не были включены как потребители, ибо трудно было сообщить 18 миллионам крестьянских хозяйств как гражданский долг – снабдить столицы и Север. И полученные цифры

были ещё понижены, чтобы развёрстка не оказалась по каким-либо причинам затруднительной для исполнения.

Полученную цифру губернские земства должны были разверстать между уездами, уезды – между волостями, а волостные и сельские сходы – между дворами. И что ж? раскладка пошла весьма успешно,

первоначально чувствовался, скажу прямо, патриотический порыв. Эта развёрстка была увеличена многими губернскими и уездными земствами на 10 % и даже более. (С просьбой о такой надбавке я обратился к ним – чтоб избытком накормить центры и Север.) Но сейчас же вслед в дело были внесены сомнения и критическое отношение к развёрстке, всё внимание обращено, что развёрстка тяжело исполнима, что слишком много требуется от каждой губернии. Конечно, она тяжела, требуется очень много, но ведь, господа, и война тяжела.

Представителю ненавистного, презренного правительства надо выражаться перед разгневанной общественностью мягко, оглядливо:

Всё же я думаю, господа, что те методы, которыми доказывалась непосильность развёрстки, являются едва ли правильными. Вслед за первым порывом земств проводить эту развёрстку всё внимание гипнотизировалось: достаточно ли после развёрстки будет обеспечено население? Это уже охладило порыв, который был к развёрстке, свело его с великой цели на расчёты мер и весов, сколько каждому оставить в запас, сколько можно уделить на нашу армию.

У всех земских чрезвычайная чувствительность к местным интересам, они патриоты своего околотка. А вдруг будет неурожай, новые наборы, рук не хватит, хлеба не хватит, будьте осторожны, не везите лишнего...

А теперешний крестьянин – крестьянка, ей легко внушить: хлеба не везти, чтоб не помирили её дети.

И все губернии составили нормы потребления на 5–7 пудов выше, чем считались обычными в мирное время. Но при 150 миллионах человек это 900 миллионов пудов, то есть удержан весь внутренний оборот хлебной торговли. Губернии, всегда вывозившие десятки миллионов пудов, как Таврическая, оказались будто не могущими дать ничего, а в такую богатую, как Екатеринославская, ещё, оказывается, надо ввезти 14 миллионов пудов.

Сомнение было посеяно и так задержало развёрстку, что не в две декабрьские недели, как рвался Риттих, но лишь в феврале 1917 она дошла до волостей... И некоторые волости выполнили её, другие даже превысили, а кто и отказался. Риттих, однако, *не разрешил применять реквизиций*:

Относительно нашего производителя уже слишком много принято
понудительных решительных мер,

но —

собирать сход ещё раз, быть может его настроение изменится, указать,
что это нужно Родине, обороне...

И на повторных сходах развёрстка часто принималась. Или обещали доверстать, после того как выйдут озими. Первый результат развёрстки был тот, что крестьяне принялись усиленно молотить свой хлеб, до того покинутый в зародах. Поступление хлеба очень увеличилось уже в декабре и январе:

за декабрь — 200 % среднего месячного осеннего поступления, за январь
— 260 %. И каждую неделю всё выше.

Пережили гипноз и земства: требуется — дать, а сами потеснимся и проживём. Хлебная проблема безусловно сдвинулась и начинала решаться. Риттих надеялся, что к августу 1917

великая цель развёрстки будет достигнута.

(Грозили голодом не ближние месяцы, замысел был — кормить лето.)

Тем временем подошло 14-е февраля и долгожданное открытие прерванных заседаний Государственной Думы. Русское общество с нетерпением ожидало взрыва, особенно от первого дня. Тем более готовились совершить такой взрыв лидер Прогрессивного блока Милюков и левый лидер Керенский: их уже заранее исторические речи должны были создать этот заранее исторический день Государственной Думы. С жадью собралась публика на хорах Таврического дворца: какой оглушительный разгром ожидал правительство в ближайшие часы! И сам Председатель Родзянко предсмаковал не хуже других — но по деревянному уставу Думы не мог отказать министру, неожиданно попросившему слова. (Почти со времён Столыпина отвыкли, чтобы министры сами просили слова, — уж они рады помолчать в ложе, когда их не слишком сильно бьют.)

Это был министр земледелия Александр Александрович Риттих, за три месяца почему-то ещё не сменённый, только что воротившийся из поездки по 26 хлебным губерниям (уже и доложивший Государю о своих намерениях). Он вышел на трибуну с тоном примирения — совершенно, конечно, не в рост пылающим политическим задачам Думы, и более чем на час сорвал её накал, да просто погубил исторический день и широкие принципиальные политические прения своею скучной продовольственной конкретностью — всем процитированным выше.

Несколько лет правительство ушмыгивало из своей думской ложи, министры избегали выходить объясняться с Думою — и это было плохо, и поносилось заслуженно. Но вот министр выходил с подробными объяснениями, терпеливо присутствовал на целодневных прениях, готовно поднимался давать новые и новые объяснения — и тем более не угодил!

Александр Риттих, выпадавший из традиции последних русских правительств — отсутствующих, безличных, параличных, сам из того же образованного слоя, который десятилетиями либеральствовал и критиковал, Риттих, весь сосредоточенный на деле, всегда готовый отчитываться и аргументировать, словно нарочно был послан судьбою на последнюю неделю русской Государственной Думы, чтобы показать, чего стоила она и чего хотела. Всё время её критика была в то, что в правительстве нет знающих деятельных министров, — и вот появился знающий, деятельный, и на самом ответственном деле, — и тем более надо было его отвергнуть!

Как ни смягчал он своим предупредительным, даже почтительным отношением к Думе:

Я подчёркиваю, что я решился на эти меры не сам, а по одобрению
и согласию, которые представляются весьма авторитетными: основания

развёрстки были указаны Государственной Думой (шум слева), они повторены Особым Совещанием, –

так тем обиднее, что он взял *нашу* мысль, но проводит её *не теми* руками! что он «искусно подставляет себя под знамя общенационального дела». Риттих уже тем был нуден, что отсюда, с думской трибуны, рассказывал всем известное: как после тёплой сиротской зимы 1915 – 16 необыкновенно сурова зима 1916 – 17, с конца января почти три недели непрерывных мятелей и заносов, остановивших всякое железнодорожное движение и хлебный подвоз. И уж тем был особенно ядовит, что осмеливался не всю вину брать на обречённое бездарное правительство, которое одно только и мешало русскому счастью:

Но нет уверенности, что поступательное движение хлебных поставок сохранится. И не весенняя распутица страшна, она наступит не во всех местностях сразу, – опасно неуклонно отрицательное отношение к действиям министерства земледелия со стороны *известного течения нашей общественной мысли*, такого крупного, что имеет способы внедрить свой взгляд в самую толщу населения. Все меры представляются этой критикой как принятые правительством, не пользующимся доверием, и стало быть неправильные и обречённые на неуспех. Зачем же держать флаг недоверия к правительству во что бы то ни стало, не вникая в сущность, не дав себе труда проверить последствия? (Шум слева. Голоса справа: «Дайте слушать, что это такое!») Хотят, чтобы в самой толще нашей деревни знали: не делайте этого, не везите хлеба, потому что к этому вас призывает правительство. (Шингарёв: «Неправда!» Справа: «Браво!» Воронков: «Много смелости!») Меня упрекнули в смелости. А я – боюсь этой политики больше, чем всех распутиц, я боюсь, что она погубит дело. (Справа рукоплескания.) Крестьянский хлеб вы путём расчёта не получите: крестьянин сейчас не нуждается в деньгах. Вот если бы общественность внушала крестьянству, что этого требует война и родина, то хлеб пошёл бы вдвое и вчетверо быстрее. Где случайно не оказалось противодействующих сил, там мы видим результаты изумительные.

В некоторых губерниях хлеб так повалил, что поволостной развёрстки даже не делали, например в Самарской: до 1 декабря едва закупили 4 тысячи пудов, а за декабрь привезли 19 миллионов.

Но там не проник этот яд: что это делается правительством, а потому не слушайтесь. Если бы мы все могли бы объединиться на почве простой искренности, не считаясь, кто к чему принадлежит, а только – желает ли своей родине добра...

А что предлагают критики? Реальных непосредственных мер не предлагают, а только – новые обсуждения, съезды. Недавно осенью был этот гигантский съезд, и только подрезал и предрешил всю участь продовольственной кампании, теперь приходится отчаянными усилиями поправлять. Я со страхом смотрю на эту политику разъединения потребителей от производителей. Все земства признают меры правительства правильными, даже единственно возможными, но на всё ставится штемпель недоверия: это придумано правительством и может повести только к краху. Если, не дай Бог, этот крах случится, то, господа, *придётся разобратся, где его причина*. Неужели около этого громадного дела, которое имеет такое страшное значение для России, мы будем продолжать вести политическую борьбу? Я с волнением

буду ждать ответа от Государственной Думы. (Рукоплескания справа и в правой части центра.)

(Этим и опасно было его ненужное выступление, что он отрывал от Блока его правую часть, которая шла не обязательно только принципиально *против*. Он срывал тактику Блока – слитное психологическое давление на власть.)

И – ждал, сидел в министерской ложе, у подножья ораторов и лицом к депутатам.

Но Прогрессивный блок уж разумеется не стал обсуждать пустяковое заявление Риттиха, соотношением 2:1 Дума отодвинула это. А решили заслушать и обсуждать общее заявление Прогрессивного блока. И хотя оно по видимости касалось опять того же продовольствия, транспорта и топлива, но – в *общем* ракурсе, в том смысле, что ни один из этих вопросов нельзя решать как таковой, но прежде

необходимо, чтобы люди, управляющие страной, были признанными вождями нации и встречали бы поддержку законодательных учреждений... Власть, которой бы каждый гражданин мог радостно повиноваться.

А пока это не так, без коренного переустройства исполнительной власти, нельзя даже обсуждать ни продовольствия, ни транспорта, ни топлива. И пусть эта ничтожная так называемая власть ответит:

Что будет предпринято для устранения вышеизложенного нетерпимого положения вещей?

И так – снова могло политься торжественное течение думских заседаний, и выдающийся умник России и лидер её либералов и центра получал возможность произнести свою общеполитическую, возгласительную речь – очень высокого и широкого значения, разумеется не о хлебе. *Милюков*:

Отношения между правительством и Государственной Думой – единственный вопрос текущего момента.

Но не обошёл и Риттиха, чьи рассуждения

показали нам наглядно неспособность этих людей захватить вопрос во всей его широте и во всей его глубине. Самоуверенность, самодовольство, свобода обращения с фактами, неуважение к аудитории. Ни в одном намёке его речи не чувствуется понимания, что вопрос о продовольствии это не только...

не только... не только... о жевательных движениях зубов. Вопрос о продовольствии это – и почему преследовали попытки Земсоюза и Горсоюза самим, без правительства, решать народно-хозяйственные проблемы? И зачем закрыли Вольно-экономическое общество марксистов?..

А Милюков способен действовать и самыми строгими научными методами. Да вот, пожалуйста, – диаграмма, в его руках диаграмма, и показывается всей Думе. Объяснений подробных он не даёт (без большой науки депутатам в это не вникнуть), но все могут видеть взлёт:

Вот кривая, которая высоко поднимается вверх после установления твёрдых цен. А вот когда она начинает падать – когда появляется Риттих.

И отсюда все видят, что

твёрдые цены – вызвали хлеб на рынок!

То есть: пока выгодно было продавать – не продавали, а как стало невыгодно – тут-то все и повезли. Водопады падают кверху. И – не было «патриотического порыва», а раз Риттих предоставил такую выгоду, оплатил гуж до станции, то стало и выгодно сам хлеб продать ниже стоимости. Наконец, разоблачил Милюков и цифры Риттиха, что в декабре-январе по сравне-

нию с осенью заготовка хлеба возросла до 260 %: так никто не считает, надо сравнивать с теми же месяцами предыдущего года.

Господину Риттиху верить не надо: он извратил идею, вырвавши её из связи, в которой она находилась. А её нельзя решить без решительного изменения внутренней политики.

А *Керенский*, в своей тоже исторической речи, почти и не связывался с Риттихом:

этот господин, которого здесь в Думе многие называют «гениальным», этот первый ученик Столыпина свою школу прошёл на разрушении сельскохозяйственной общины

(тепло любимой издали и трудовиками и кадетами), весь его «патриотический порыв» – это классовый сговор помещиков. И получалось в обычном сумбуре Керенского, что свободная торговля так же плоха как и развёрстка, нетвёрдые цены – как и твёрдые, экономический анархизм – как и государственное насилие.

Тут ещё, при неполном зале, депутаты всё время сыпали в буфет, и нигде, кроме буфета, продовольственного вопроса не вспоминали, дискуссия шла общеполитическая, самая принципиальная.

Риттих, как терпеливый ученик, смиренно высидал весь день, так и не услышав больше о продовольствии ни от кого из думского большинства, а только из меньшинства – от правого профессора *Левашова*:

Огромные запасы важнейших продуктов искусственно изъяты из употребления и преднамеренно скрыты в складах городских ломбардов, банков, акционерных товариществ и компаний – в ожидании более высоких цен.

И называет много городов и примеров – скрытые запасы спичек, мыла, риса в кавказских городах, мануфактуры в Старом Осколе, муки и сахара в Тургайской области, на 2 миллиона кож в Нижнем Новгороде, искусственный нефтяной голод от каспийских нефтедобывателей – это только всё уже раскрытое, но тысячекратно же не раскрыто? Одни воют, а другие?

Однако, в чём только власть не понося, – либеральные думцы никогда не обвиняют её в потворстве промышленным компаниям и банкам.

Да им же надо голосовать теперь свой запрос:

Что будет предпринято для устранения нетерпимого положения?..

И надо же обсудить незаконность изменений в составе Государственного Совета!

И надо же запросить о незаконных действиях относительно профсоюзов и рабочих организаций...

А 16 февраля, хоть день и будний, – Дума не заседает.

А 17 февраля – надо вести прения по запросам. И вот старательный этот Риттих, аккуратно являсь снова к началу, просто уже раздражая думское большинство, пристраивается теперь как бы к ответу на запрос (поскольку там и о продовольствии упоминалось) – и нельзя не дать ему слова, – и вот он опять на трибуне и опять о своём. Он отзывается и на крохи, что за два дня были брошены по его вопросу.

Я никак не мог понять, какая это кривая, о которой говорит член Государственной Думы Миллюков.

(Почтительно, а тот его – просто «Риттих», и без «господина».)

С нашим статистическим отделением я просмотрел и понял, вернее – догадался. Оказывается, господа, это хлеб *заподряженный*, но не находящийся

у нас. Действительно, когда свободная торговля была совершенно изгнана с рынка, был заключён ряд сделок о поставке хлеба. Эти сделки имели бумажное значение, поступление плачевное, а заподряд – к весенней навигации. Говорить о поступлении хлеба, когда есть лишь бумага о хлебе, такими диаграммами занимать внимание Государственной Думы я не считаю возможным. (Справа: «Совершенно правильно!» Центр и левая не поддерживают.) Разумеется, я докладывал относительно того хлеба, который не в предположении, но реально получен в наши амбары, в приёмные пункты близ железных дорог, в склады близ мельниц, в сушилки.

И вот тогда получается: в результате убеждения и вопреки твёрдым ценам – 260 %. Но если и так посчитать, как хочет г. Милюков, сравнивать месяцы не с осенью, а с прошлогодними теми же, то всё равно получится рост: в декабре – 196 %, в январе – 148 %.

Он не говорит – Милюков глуп или нечестен.

Я не позволю себе объяснять это теми мотивами, которыми член Государственной Думы Милюков объясняет *мои* слова и цифры. Я объясняю это простой ошибкой: кто-нибудь из секретарей... Что же касается заявления члена Государственной Думы Милюкова, что твёрдые цены *вызвали* хлеб на рынок...

то на земских собраниях только бы посмеялись. Риттих ссылается и на члена революционной 1-й Думы Жилкина, в те же самые месяцы, что и министр, объехавшего ряд губерний, он в газете напечатал: да, от твёрдых цен хлеб исчез, а с декабря появился, как расколдовало.

Прогрессивный блок молчит. Если истина не на нашей стороне – пропадай и истина.

Вообще, говорить, что твёрдые цены вызвали хлеб на рынок, это я понимаю в виде остроумного парадокса.

В Самарской губернии после воззвания о нуждах армии вдруг обильно повезли хлеб безо всякой развёрстки – и что ж? *Общественность* кинулась предупреждать крестьян: «Не верьте, а то будете голодать».

Я считаю это очень близким к саботажу – ту *работу*, быть может даже и общественности, не знаю, как её назвать, разрушительную для интересов России.

К чему приведут крестьянские запасы, когда землю осквернит нога нашего противника? Быть может, сейчас решающий момент, и надо выбросить всё до последнего пуда, чтоб обезопасить успех. (Рукоплескания только справа. Милюков: «Надо иначе относиться к общественности».) Что же, участь войны зависит только от снарядов, а не от хлеба? Можно ли хотя бы на минуту откладывать решение? Нужно единодушное обращение к России, к крестьянству – всё отдать ради войны и победы!

А что предлагает общественность и её Союзы? Не оплачивать гужевую перевозку, остановить развёрстку, вести учёт, учёт, и конечно побольше совещаний, и конечно комитеты, составленные не из крестьян.

При таких комитетах вы ни одного пуда зерна не получите... Ещё внесли этот термин *аграрий*, покрывающий три четверти населения России. Я отлично помню обвинения, что спекуляция проникла в крестьянские классы,

и от этого спекулянта надо защитить городских потребителей. Непомерной защитой потребителя,

прямыми указаниями, что производителя надо сократить, – а его 18 миллионов хозяйств, – произвели этот страшный раскол, достигли, что главный производитель, крестьянин, вернулся со своими возами с базаров и перестал молотить хлеб, этот «аграрий» ничего не стал везти на рынок, и если мы прожили с августа по ноябрь, то исключительно благодаря хлебу помещиков, которые продолжали везти.

Очень это неприятное для Блока соединение, что в «аграрии» попали и крестьяне, не разделишь.

Тут были выпады лично против меня – первый ученик Столыпина, умоляю не поднимать меня так высоко. Я говорю: выход в том, чтобы вся общественность присоединилась бы к общему внушению крестьянам: везите всё до последнего! – и с волнением жду ответа, а меня упрекают в оптимизме. Но я безропотно снесу и буду счастлив, если всё обернётся против меня, а не против дела. Я понимаю, что нужно открыть известный клапан, надо найти виновного вне самих критиков, надо рушить систему, чтобы найти виновного. Так пусть нападают на меня, а деревенской России не мешают вывозить хлеба! (Рукоплещут только правые и правая часть центра.)

Простая человеческая интонация, которую редко услышишь с думской трибуны, разве только от безхитростных неумелых крестьян. Среди думцев не принято виниться, но – всегда оправдываться, но со страстностью и едкостью – прерывать, уничтожать других.

Что бы, правда, сейчас забыть партийные догмы, лидерское самодовольство, расчёты и счёты с врагами, очнуться: ведь Россия может погибнуть! И объединиться всем и единой грудью воззвать к деревенской России: спасайте, братья, нас грешных! мы тут передрались и напутали... Воздух недоверия можно сменить на воздух доверия – и в далёких волостях и рядом в столице, – так что булочных громить не начнут. И обойдётся.

Однако и Царское Село с гордо закинутой женскою головою не может уступить ни извинки улыбки. И думские лидеры, затянутые инерцией вечных прений, возгласов с мест и голосований, возбуждениями, суждениями, разоблачениями и запросами, в этом тёмном закрытом зале, бывшем зимнем саду, не имеющем ни единого окна в Божий мир, а только мутно-стеклянный потолок, через который мерцающе проходят дневные отсветы, а в перерывах заседаний – ещё через восемь дверей, открытых тоже не прямо к свету, но в коридоры, – думские лидеры уже не могут остановиться, оглянуться, очнуться, переродиться.

Рука власти разобралась в своём конце верёвки – тёплая рука Риттиха ослабила её. Но отдалённая равнодушная рука Думы по-прежнему уверенно тянет свой конец. И – стягивается хлебная петля на питающем горле России.

Конечно, потянула достаточно и рука власти. Следующие ораторы напоминают, как затягивал её и министр внутренних дел Протопопов, задерживая поставки уже осенью, в решающие недели, своим проектом отобрать продовольствие у министерства земледелия и вернуть свободные цены. Левый *Дзюбинский*:

Неумелость развёрстки в том, что она произведена именно без совещаний с общественными организациями. Только при строго демократической общественности, когда всё население будет участвовать в комиссиях на строго пропорциональном представительстве...

(А на это нужны годы.)

Думаю, что исчезновение с рынка хлеба – только случайное совпадение с опубликованием твёрдых цен. *Post hoc*, а не *propter hoc*.

(Уж где «хок», тут не перехокаешь... Просто сам по себе хлеб почему-то исчез.)

Риттих нарушил твёрдые цены. Производителю *подарено* несколько десятков копеек на каждый пуд.

(Ты бы, мать твою за ногу, протащил груженую телегу девяносто вёрст по российской грязи – я б тебе сам подарил!)

Выпускают против Риттиха учёнейшего экономиста либерального лагеря *Посникова*, и он в просторной лекции долго, учёно разъясняет Государственной Думе и порочному министру:

Развёрстка продуктов – дело крайне деликатное!

(Это нам скоро покажут продотряды.) И возвышенно объясняет нам, почему нельзя оплачивать крестьянского подвоза к станции: это не соответствует теории ренты и теории рыночных цен.

А ещё один многословный дотошный законник Прогрессивного блока Годнев (через несколько дней – министр Временного правительства), добираясь всё глубже к сути вещей, открывает нам такой корень зла: хотя Дума произвела закон, что скот можно убивать только 4 раза в неделю, – вопреки тому Риттих самовольно разрешил в предрождественскую неделю ежедневный убой скота.

Вот и всё, что либеральные ораторы находят сказать против Риттиха. Левое крыло ошеломлено таким министром: со столыпинских времён с ними не разговаривали так убедительно и настойчиво. Неважно, прав или неправ Риттих по существу, но он – царский министр, и поэтому он обязан быть глуп, туп, безсловесен и пуглив, – а Риттих нарушил весь кодекс. И ораторы не стесняются говорить о нём, как если б не дали себе труда его слушать, тот же Дзюбинский беззастенчиво извращает только что говорившего, только что из зала ушедшего министра: Риттих-де обвинил крестьянство в непатриотичности. (Он как раз наоборот, изумлялся его патриотичности.) Но в этом зале слева направо можно нести всё, что угодно, большинство глоток за оратора. Правый вскрикивает с места: «Передержка! Что он врёт?!» – но уже нет их сил протестовать и обсуждать. Так и закрепляется ложь в стенограмме навеки.

А левый оратор взнёсся на трибуну даже не для того, чтобы путаться в продовольственных подробностях, но поведать нам:

Никогда общественная атмосфера не была так насыщена жадой обновления внутренней политической жизни, никогда не были *нервы так взвинчены*, и в то же время страна окутана такою мглой. Острота речей и страстность, с которой они выслушиваются...

освобождает от обязанности говорить по делу. А вот: почему не шлют на фронт полицию? Разве крестьянам – нужна полиция?.. И как смеет министр земледелия призывать крестьян к патриотизму, если само правительство не *уходит*, как от него два года требует общество, – где же тогда патриотизм самого правительства?

Истинный виновник – самодержавный строй. Правительство, которое не желает уйти, – будет свергнуто по воле и желанию народа!

Савич. Он – земец-октябрист. Состоя в Блоке, он должен быть согласен с левыми о немедленной смене правительства и о многом другом. Но находит мужество возразить своим соблазнам, что по продовольственному вопросу

общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются беспристрастно и со знанием дела. И вопрос затуманен классовой рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию.

Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство,

и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня – резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: «Верно!») И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.

(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь.)

Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей, – деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала.

И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошёл дальше: перестают *сеять*. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии *дать*.

А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась

большая травля против «агров», сведение политических счётов.

«Биржевые ведомости» предлагали: *взять с агров контрибуцию*, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство – может без рынка и обойтись.

Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше – и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.

(Стук сапогов и прикладов... Неизбежность идёт на Россию... Что бы далее ни случилось – от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что, когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её.) Впрочем,

это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся... И – застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не

погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится.) Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать.

Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты – они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но «агрии» – ни в коем случае.

В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, *агрии*, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: «Правильно!») и одобрить действия министра земледелия.

Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки – более простой помол.

Агрий предлагает жертву... Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе – они, наверно, и не понимают, что это – жертва. Да они – знают ли, что такое *помол*?

Выступает правый, *Новицкий*. – Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это – мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.

А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!.. Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков, у которых земля только на ботинках, подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, – протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.

А Дзюбинский не знает *дела*, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.

Какое гнусное оскорбление! – и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов!

Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну *агрии*:

Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.

Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: «Браво!») Вы, господа, опять закрепили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все кто сколько могут с крестьянина взять – берут. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А – на железо, гвозди, ситец? За них берут кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и Прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей

среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?

(*Пензенский помещик*): Когда вините во всём правительство – на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. У вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены – главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.

На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. Возвысилась стоимость производства хлеба – и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде – расплатиться с долгами летнего времени.

Какой же это патриотизм – губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать – мы и все знаем, а вот укажите – *как*? Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны – у них очень много критики, очень много шума, но никакого творчества не бывает.

И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены – и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки, – пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.

(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это – реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов – и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода.)

(*Курский помещик*): А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях, а он весь – сыромолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде – всё сгниёт. То собирали сухари на армию – и отдали крысам. То требовали скот на станции – и там он гиб от голода. Топлива нет – а в Петрограде несколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения, – зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.

(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев – это всё армия свободы.)

(*Депутат Воронежской губернии*): Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет – там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии, – а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезд заносит снегом – женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его «для армии», будто быки не для армии. Берегите деревню!

– Де-ревню?? – изумляется *Керенский*.

Помогать *деревне*, забывая о городе? Но ведь *мы*-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город – артерия государственного творчества!

Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?

А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколько же получили все отсрочки от воинской повинности?

Крестьянские дети сложили кости в боях – а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали – а кому-то дали отсрочки. И какую же они цену заплатят тому старику за кусок хлеба – твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.

Один министр твёрдо сказал, – а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено – то может выйти плохим отражением.

Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый – на двух страницах, а кадетские профессора – на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи – как серая вода. То ли дело – свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится – Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80 % думского времени проговаривает всего 20 человек, – и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.

И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович *Шингарёв* – никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории. Однако же, если ты в двадцати – то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии – то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косою, как надо твоей партии, и защищать своего лидера и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов, важен не хлеб сам по себе – важно свалить царское правительство. А если Милюков не сумел оправдаться в проклятой диаграмме, так помочь же ему – надо выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось – по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо.

Возможно, что отдельные исчисления были неточны.

(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!) Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Из всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор. Не замечает, как противоречит себе:

Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание – политическое, вы – не продовольственный комитет. Политика – это существо государственной жизни. Если вы устранили политику – что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.

И тут же изломно возвращает правительству укор:

Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.

Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы – а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, объявляет опешившей Думе:

Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.

А беспокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия – снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.

Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: «Перерыв! Перерыв! Это неуважение к Государственной Думе!»)

Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи *Pumtux* произносит несколько раз:

Господа, с величайшим... (Слева шум: «Перерыв!») Господа, я буду очень краток. Я с величайшим... (Слева шум.) Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: «Постановление Думы!»), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренно говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то – в преступном оптимизме, то уже – в пессимизме, не помню – преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания.) К несчастью, я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.

Безпристрастно: ну отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столкнуться немудрено. Но титаны оппозиции кричат:

Аджемов: Уходите!

Милюков: Земля не клином сошлась!

Pumtux: Да можем ли мы размениваться сейчас на чисто личную политику? Ведь это прямо ужасно. Господа, я мечтаю, что сюда выйдет не оратор, а просто человек, до самозабвения любящий Россию... Мне кажется, и быть может все это чувствуют, мы переживаем торжественную историческую минуту. *Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России.*

Но у нас-то суббота и воскресенье, заседаний нет. То – умер член Думы – некролог, траур, панихида, три дня деловых заседаний нет. Только 23 февраля в полдень, когда на Петербургской стороне началось то самое, да никто в мире ещё этого не понимает, – опять открывается рядовое заседание Думы с обсуждением надоевшего хлебного вопроса.

Уже громят петроградские булочные, толпа останавливает трамваи, теснит полицейские посты. Кем-то принесенные смутные слухи доходят до думцев в перерывах.

Но в беззаконном электрическом зале с ранней ночью под стеклянной шатровой крышей всё выступают знатоки и эксперты либерального лагеря, уже и 24 февраля после полудня – снова Посников, Родичев, Годнев, и, конечно же, каждый день Чхеидзе, и каждый день Керен-

ский, и, наотмашь выплюхиваясь из этого надоевшего продовольственного вопроса, взывом рук и возгласов, – не верить этому Риттиху!

Родичев: И да будет с ним покончено с сегодняшнего дня!

Чхеидзе: Господа! Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?.. Единственный исход – борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах, – дать улице здоровое русло!

Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ, а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но – уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взалаль хлеба.

4

Саша Ленартович снова в Петербурге. – У Гиммера. – Саша держит социалистический экзамен.

Названо было Саше – набережная Карповки 32, а спросить не самого Гиммера, но его жену госпожу Флаксерман. Это оказалось на углу улочки Милосердия, нелепое название, наверное какое-нибудь благотворительное учреждение на ней, и прямо против черного серого уродливого храма, глыб нарощенного камня, черносотенного гнезда Иоанна Кронштадтского, – в скудном освещении на убогой набережной Карповки он виделся чёрной горой.

От одного запаха ладана, который может донестись из церкви, Сашу всегда тошнило. Вот уж психоз эта вера так психоз. Пока есть Бог – не может быть свободы.

Саша шёл к Гиммеру весь напряжённый, собранный и с жадным интересом. За годы военных болтаний по всяким дырам он так отвык от подлинной социалистической атмосферы! Эти три месяца, как он счастливо перевёлся в Питер, он использовал для обдумывания, поисков и рекомендаций, чтобы наконец повидаться с каким-нибудь заметным теоретиком социализма. Не всё это время он и искал, первый месяц просто наслаждался тем, что дома, что опять в Петербурге, и вступил в трудное состязание за Еленьку, почти упущенную. Но после первого отдыха стала нарастать интеллектуальная пустота, нехватка серьёзного разговора и серьёзного революционного дела. Простительно было обывательски закисать по захолустным армейским частям, как его до сих пор кидала судьба, – но уж в Питере-то?!

Однако и обезлюдел Питер за время войны, люди революционных настроений куда-то все рассеялись, истратились или припрятались, переличились, это не было то свободно кипящее общество, как раньше. Социалистические кружки в столице если и сохранялись ещё каким-то пунктиром, то настолько не соединены или увяли, что даже некуда пойти, не с кем потолковать. Направлений угадывалось много, а заметных личностей не было. И среди них сам Саша избрал Гиммера как недюжинного и к нему пробивался. Гиммер, подписываясь «Суханов», был важнейший автор в горьковской «Летописи» – почти, может быть, единственном петербургском журнале, который стоило читать. И хватка Гиммера, как ни приглушённая цензурой, была остро политическая, а направление – нескрываемо циммервальдское.

Квартира оказалась в первом этаже. Открыл Саше не сам Гиммер и не жена его, но приятный подвижный молодой человек, в солдатской пехотной форме, а явно студент, и уже от

этого сразу тут дохнуло своим. (Потом оказалось – брат жены, тоже, как Саша, попавший в армейщину, но ему и университета не дали кончить, теперь в Нижнем тянет лямку.)

Тут вышел и Гиммер.

В первую минуту, от наружности его, Саша был разочарован. Гиммер не только не походил на вождя, но даже и на орла теории. Ростом он был значительно ниже Саши, не только худой, но даже тщедушный. Гладкобритое лицо его было жёлто-серого цвета, с безкровными губами и неприятно безбровое. Однако со всем тем оно было и выразительно-энергично – энергией не той, какую придаёт крепкое тело, а внутренним горением, воспалённостью взгляда. Тем горением, которое даёт нам только революционная мысль, никакая другая! – с узнаванием своего определил Саша, ещё только представляясь:

– Ленартович.

И ручка была маленькая и вялая, как из ваты.

– А я ожидал вас в военной форме, – сказал Гиммер.

– Я подумал – может быть для конспирации, в глаза не бросаться, так лучше? Да и вообще для свободы. Пользуюсь каждым случаем формы не надевать.

– А где состоите?

– Сейчас – в Управлении по ремонту кавалерии.

– Кавалерист? – поднял Гиммер те места, где должны быть брови. (Тому удивился, что кавалерия – самая непропагандируемая?)

– Да нет, – засмеялся Саша, – я даже не знаю, как к лошади подойти.

– И держат? – усмехнулся Гиммер.

– Там и другие такие ж есть знатоки, как и я. Там только надо бумажки писать и перекладывать. Да я и недавно, вот с ноября.

Квартира состояла из нескольких совсем маленьких комнат, соединённых все друг с другом. Они прошли маленькую столовую с незанавешенным окном в чёрный двор, где наискось стекла проходила внешняя железная лестница, и вошли в маленький кабинет с двумя зашторенными окнами, а на стене – небольшими портретами Маркса и Лассалья, и никаких больше глупостей не развешано, как это любят в городских квартирах. Эта прямизна и строгость очень обрадовали Сашу, здесь жили – духом.

– И какое ж настроение у офицеров в Управлении? – спрашивал Гиммер, ещё даже не посадив, с большой живостью.

Легко отвечал и Саша:

– Животов на службу родине не кладут. Очень большой штат. Старшие сходятся к двенадцати часам, чтобы вместе позавтракать, поболтать, с двух часов начинают уже уходить. Да все понимают, что кавалерия в этой войне куда меньше нужна, чем приходится её кормить.

– Нет, а – собственно настроение?

– Очень вольные разговоры. Вдруг один принесёт карикатуру из иностранной газеты: Вильгельм, расставив руки, меряет длину артиллерийского снаряда – а наш царственный идиот, став на колени и так же расставив руки, меряет у Распутина. Все офицеры смотрят – и смеются. Так что я могу держать себя довольно открыто. Но самые смелые из них, конечно – только до буржуазной конституции. И то – на языке.

Сели.

– Да, некоторая осторожность не лишняя, вы правы, – сказал Гиммер. – Я и на собственной квартире живу как бы полулегально.

– Почему ж застряли на «пóлу»? – улыбнулся Саша.

– Да потому что в мае Четырнадцатого меня приговорили к высылке из Петербурга. А я не захотел, не поехал. Тогда надо бы квартиру сменить – так лень, привык. И я стараюсь просто не слишком дразнить швейцара, хожу обычно с чёрного хода и чтобы не слишком поздно приходиться. Да, впрочем, он знает, глаза закрывает.

– И никаких особых неприятностей?

– Нет. Даже на службе так и состою под своим именем.

Разговор легко пошёл, и Саша осмелился спросить:

– А где служите?

– В зануднейшем месте, – не кичился Гиммер и перед новичком. – В министерстве сельского хозяйства есть такой департамент земельных улучшений. А в нём – Управление по орошению Голодной Степи. Так вот – там. Удобно, что совсем рядом, тут, в конце Каменноостровского, на Аптекарском острове. И ещё удобно, что можно в служебное время много заниматься литературной работой. Там, знаете, всякие оросители, разбрызгиватели, водосбросы, я в них понимаю примерно столько же, сколько вы в конском деле, – но устроили хорошие люди, как всегда устраивают. И держат.

– Да, меня тоже. Нелегко было попасть.

Нет, первое неприятное впечатление прошло, и Гиммер начинал Саше нравиться.

Всматривался быстрыми, тёмными, жадными глазами:

– Ленартович – это фамилия истинная?

– Да.

– А псевдоним, кличка – есть?

– Псевдоним – нет, я собственно литературной работой ещё пока не... А кличка была, да. «Ясный».

(Давно была, мало пользовался. Какая у него там подпольная работа? И не было ничего.)

– Ясный. Хорошо, – оценивал Гиммер. – Может пригодиться.

Они сели через небольшой квадратный столик. За всё время их разговора никто не вошёл, не пытался что-нибудь предлагать, никакого намёка на угощение или питьё, – и эта нежеманность тоже понравилась Саше: чай с печеньем он мог выпить и дома, не для того добивался сюда. Была ли там где жена, да и в этой комнате не видно ухаживающей руки, которая выбирает расположение или поправляет. Хорошо. По-деловому – и сразу в разговор.

Саша весь собрался, понимая, как важно не показаться глупеньким или неосведомлённым. Но это ему и не грозило, он себя знал.

Гиммер не стал спрашивать ни о подпольной работе, ни о партийных связях: первого могло и не быть по молодости, второго, видимо, не было, раз вынырнул из неизвестности. Но стал спрашивать, сперва быстро перебирая, потом подробнее, – *что читал*, каких авторов, какие книги, на каких языках, за какими журналами следит. Из девятнадцатого века почти не спрашивал, а ближе к сегодняшнему дню. Обрадовался, что Саша владеет немецким, и спрашивал по современным немецким социал-демократическим авторам. Здесь он был очень подробен и о каждом журнальном органе судил категорично.

Очень живой, незаурядный ум. И – несётся в речи, стремителен, логичен, вот она, сила!

Больше всего интересовало Гиммера, циммервальдист ли Саша, – и Саше не надо было притворяться: он и был циммервальдист, ещё от начала войны, ещё прежде, чем это название появилось, хотя самой-то *литературы* в военное время и достать не мог. Вот – читает «Летопись».

– Да, – с гордостью согласился Гиммер, – мы совершаем просто чудо: в условиях полицейского государства и во время войны легально выпускаем антиоборонческий журнал, единственный интернационалистский орган. Конечно, имя Горького очень помогает.

Горького Саша искренно любил: не ушёл в литературные изыскания, а всё размешивает гнусную гущу жизни, и сердцем с рабочим классом.

– И ни одной минуты, с 14-го года, заметьте, он не был патриотом!

Выдержать экзамен Саше оказалось легче, чем он думал, и только одною из приготовленных глубоких мыслей успел блеснуть в теоретической части. А дальше уже касались реального состояния революционных кругов в России – но это и было то самое важное, что привело

его сюда: сблизиться с этими зажатыми, скрытыми кругами! Где-то текло основное подземное русло, где-то пылало горнило – и Саша не мог больше жить в тоскливой оторванности. Конечно, за время войны всё это сильно придавлено, искажено?

Гиммер сухо, едко усмехнулся:

– Состояние наших социал-демократических организаций – ужасное. И не от разгрома, а от внутренней слабости. Я бы сказал: горючего материала в массах – больше, чем среди наших социал-демократов.

Но, действительно, у него – самые обширные знакомства во всех революционных кругах столицы. Благодаря его особому положению межпартийного литератора, не включённого ни в одну группку, он с полным основанием сносится со всеми. Его работы популярны и ценятся. Не организационно, но лично он связан со всеми социалистическими кругами Петербурга. А как редактор «Летописи» имеет самые интенсивные связи с эмиграцией всех направлений. Так что ни одна попытка межпартийного блокирования (неудачная) не обходилась без его участия.

Знал он себе цену!

Замечательно, замечательно! Саша попал как раз куда ему нужно. Под рукой Гиммера он и сам ознакомится и поймёт, выберет себе наиболее подходящее направление.

– Но вы понимаете, – говорил Гиммер, у него была исключительно уверенная манера. – Социалистический, если можно так выразиться, генералитет весь находится в эмиграции, а отчасти в ссылке. Здесь сейчас в лучшем случае – социалистическое офицерство. Я имею в виду, – пошутил, – не офицеров-социалистов, как вы, это совсем единицы, а – средний командный состав среди социалистов. Так вот, он – очень средний. Это – второстепенные рутинёры. Политической высоты обзора у них нет. Теоретический уровень – почти никакой, пытаться глубоко осознать события – этого совсем нет. Даже лучшие утопляют – кто в думской игре, кто – в крохоборчестве по распределению продовольствия. Я уж не говорю о сотрудничестве с плутократией, как Гвоздев и его группа. Поэтому все как бы слепы, бредут абсолютно на ощупь. «Долой самодержавие!» – это, конечно, понятно всем, но это ещё не политическая программа. Некоторые готовы даже поддерживать цензовую Думу, что уже никак не допустимо для пролетарской борьбы. Ни одна партия у нас, в общем, не готовится к социалистическому перевороту, не готова ни к каким действиям. Все мечтают, раздумывают, предчувствуют... А надо же что-то готовить. Это жаль, что вы – не в полку, легче было бы заваривать.

Полковую лямку тянуть – спасибо, уже побывал. Но социалистический генерал прав: в самом деле, что можно сделать для революции в управлении по ремонту кавалерии? Однако ответил уверенно:

– Я думаю, что смогу быть полезным. Я – не в полку. Но для революции, – голос его дрогнул в несомненности чувства, – я готов в любой полк и под любой огонь.

Это и в самом деле было так. Саша Ленартович и в самом деле тяготился своей вынужденной томительной дремотой эти два с половиной военных года. Но он верил, что это будет! Как иначе?

– Да неужели же страна может простить все свои страдания, боли, оскорбления, издевательства от самодержавия? Страшно допустить такое предположение.

– Да, – хладнокровно приговорил серо-жёлтый безбровый вождь. – Это – неизбежно, и придётся вырезать поражённые ткани. Но вот при нынешних волнениях будьте осторожны: самодержавие обрушится с карой на всех подозрительных, чтоб навести террор. Эти волнения могут плохо кончиться. И если какие-нибудь записи компрометирующие, бумаги, – не держите у себя. Или спрячьте у других, или сожгите.

...К чему себя готовит человек и каким вырастает потом. Николай Гиммер был очень слаб от рождения, отставал от сверстников, созерцательный, с несчастным детством в разбитой семье, отец – опустившийся алкоголик. А мать, нищая дворянка, акушерка, зарабатывала ещё

и перепиской рукописей Толстого. И к 17 годам Гиммер был захвачен толстовскими идеями, вегетарианец, и полагал принципиально отказаться от университета. От Толстого же набрался критики политического режима и экономического строя. Развиваясь дальше и всё влево, он попал за нелегалщину в Таганку, был освобождён оттуда в Пятом году толпой и ощутил себя революционером, затем и законченным марксистом.

5

Как взорвать Европу из Швейцарии. – Как расколоть швейцарских социалистов. – Платтен в ловушке. – Высшая точка кампании Ленина и спад. – Все насквозь оппортунисты.

Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через неё и во всей Европе, – если б не подлая измена шайки вождей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех – из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма. И старой развалины Грёйлиха. И других грязных мерзавцев.

Поверхностному филистерскому взгляду, а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган (изменить его направление) доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное – всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточно оказаться революция в маленькой нейтральной, но трёхязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то её нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская, – не поверят оппортунисты и книжные теоретики! – нужно всего человек пять решительных членов этой партии, да человека три иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры.

Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых неуклонных социалистов! Кегель-клуб.

В кегель-клубе обдуманное осенью, вокруг кегель-клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швейцарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша *молодых*, Ленин составил им реальные практические тезисы – об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет – всё пригодились тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был: хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация *приняла* бы их – и тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали, – и так тезисы потекли бы в обсуждение ещё шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч (все – говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется, – никто не может толком распространить).

Начать вообще самостоятельное издание листовок? Но главная опора, вождь молодёжи, Мюнценберг ворчал, что *литературы* и без того хватает. (Как будто *такая* литература бывала у них когда!) Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы.

И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину, она обещала больше и быстрее: приближался новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвящённый (верхушку вынудили обещать) *отношению к войне*. Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить всё оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его неотклонимыми жизненными вопросами: допустимо ли довести Швейцарию до войны? допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? допустимо ли... и т. д., и т. д., тут можно много наработать. Такой съезд был ещё потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17-го года предстояли выборы в парламент, и как бы теперь ни постановили они – *за отечество* или *против*, – партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать – а то и нужно нам!

Оппортунисты смекнули и стали маневрировать: нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд, нельзя ли *вообще никак* не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария ещё не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны?

И они ещё не знали, *как* будет нанесен им удар, *как* будет поставлено: не просто «за отечество» или «против милитаризма», но – с беспощадной решительностью: невозможно бороться против войны *иначе* как через социалистическую революцию! Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а: за или против немедленной экспроприации банков и промышленности! В кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда – Платтен написал, слабо, Ленин пересоставил от имени Платтена. (Работа нелёгкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым.) Надо было заострять по всем направлениям: немедленно демобилизовать швейцарскую армию! защита Швейцарии – лицемерная фраза! именно *швейцарская* политика мира – преступна! Успех мог быть колоссален: такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран!

Но – оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит *отложить* съезд, каковы наглецы! В таких случаях – предупреждающий удар! отнять инициативу! И поручили Бронскому на собрании цюрихской организации выставить резолюцию: «Против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда! признаки впадения в социалшовинизм, осудить!» А была возможность подправить подсчёт голосования – и сделали так, что резолюция принята! Хор-роший удар по центристам! – они ведь боятся прослыть шовинистами.

Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались: через день же собрали президиум партии и сбросили маску. (На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что всё известно достоверно.) Старый Грёйлих полез порочить всю цюрихскую партийную организацию: в ней, мол, много дезертиров, мы за них поручались перед властями, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты родины они будут... А другой кричал: если партия будет так мараться, мы, сент-галленцы, выйдем из неё! Эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих (и даже с намёком, что *иностранцы* мутят)... Ещё один закатился до шовинистической истерики: идите вы с вашими формулами международных конгрессов! Обсуждение военного вопроса во время войны – безумие! в такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы. (Со своими капиталистами...) Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдёт её защищать! (Слушайте, слушайте!) Но безстыднее всех вёл себя Гримм. Председатель Циммервальда, Кинтала – и такой подлец в политике: что ж, война начнётся – а нам поднимать восстание?... Делал гнусные намёки против *иностранцев* и молодых. И, соединясь с шовинистами, 7 против 5, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского, центристского голоса – отложили съезд на *неопределённое время* (считай – до конца войны)... Неслыханно позорное решение! Полная измена Гримма.

Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берёт! Так тем более теперь развернуть в партии войну как никогда! Оставалось одно: сбить Гримма с ног! Всё упиралось в Гримма – и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску.

Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевидные извилины возможных ходов. Первая мысль была: Нэн! Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит: выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна! А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, *публично* назвать Гримма мерзавцем и что невозможно дальше оставаться с ним в одной циммервальдской организации!.. Нет, не так, пусть все пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдём, – и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда! Каждая минута дорога, повсюду собирать левых – и направлять против Гримма!

Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо.

А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно: открытых писем – мало. Надо совершить *политическое убийство* – чтобы Гримм уже не встал никогда.

И вот такая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радеком, Леви, все силы, какие были в тот момент, – и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались, – Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтена, не объясняя ему, в чём дело, а – срочно! Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтен последнее время явно боялся – и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как, впрочем, и Нобс. (Если вспомнить – откуда взялись они? В Циммервальде они просто *записались* в «левые»...) Так вот, надо было взять Платтена врасплох, за горло.

Он вошёл – и когда увидел не одного Мюнценберга, как ожидал, а шестерых, плотно сжатых в комнатухе, трое впритыку на кровати, и все мрачные, – на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзники или ободрительного! – но не было ни одного. Затолкнули, посадили его в угол – дальше от двери и за комодом, в тупик, а вшестером – ещё надвинулись, кто на стульях, ещё нагнулись, кто на кровати. И Мюнценберг (так по ролям) – звонким дерзким голосом объявил: *мы*, вот все мы, наша группа, решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет! Платтену – выбор: или с нами, или с Гриммом. Платтен заёрзал – а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела, как застывшая ведьма. Платтен лоб вытирал, мял подбородок свой безхарактерный, просил отсрочки, подумать, – он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага (это забавник Радек всё придумал), – и это было самое страшное. Платтен растерялся, подавался, он предлагал: не надо же так сразу! послать Гримму предупреждение, предостережение... Нет!!! Всё – решено!!! И остаётся Платтену только выбор: или – с нами, в честном интернациональном союзе, или – со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе! И отвечать – сейчас же!

Двумя руками схватился Платтен за голову. Посидел.

Сдался.

Брошюру на опозорение поручили Радеку писать. И он – в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать, лентяй. Но – не написал. И ещё много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал, да похлеще, как он один умеет. Всё-таки журналист – несравненный!

Следующий шаг – напали на Гримма в заседании Интернациональной Социалистической Комиссии. Сам Ленин не пошёл, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии – преступление, безчестие, педерастия! – а

потому он должен быть исключён из циммервальдского руководства! (Свергнуть с престола.) Тут же напали на Гримма и в мюнценберговском молодёжном Интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума – устроить съезд теперь же, в марте! А мотивировка референдума была (пришлось самому написать) лучшее во всей кампании: что отсрочка съезда есть *поражение социализма!*

Что поднялось! Какая буча и пыль! Ч-чудесно!! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опровержения! – кто ж может выстоять в социализме против смелого резкого принципиального обвинения *слева*?! Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов!

Ч-чудесно! Это – удалось! Это – и нужно было!

Ещё на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых одну шестую часть голосов – это было крупной победой!

Но и – высшей точкой кампании. Стала она спадать.

Гримм бешено напал на референдум – и испугал наших молодых.

Лисье-осторожный Нобс публично отмежевался от референдума.

А Платтен – а Платтен смолчал, раскисляй... Вот так и строй на нём борьбу. Нет, он безнадёжен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию.

И даже брошюру Радека – отказались печатать: «Напечатаем – выгонят из партии!» Ну и *левые*! Ну и вояки!..

А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Бронский конечно не пошли. А Нобс и Платтен поплелись... к хозяину.

Нет, они на три четверти уже свалились к социал-патриотизму. Нет, левые в Швейцарии – архидрянь, безхарактерные люди.

Запутывать, замазывать разногласия, вместо того чтобы их заострять, – какая ж это подлость!

А тут совершилась возмутительная история с Бронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже – и счастливо захватил Бронского, Бронский вдруг попал! Так обнаглевшие правые заявили, что с Бронским дружной работы не будет, они отказываются. А Нобс был председателем – и согласился выборы аннулировать!

И Платтен – скушал эту оплеуху...

Ленин сидел на собрании – молча, но вне себя! И уже на минуту не заснул в ту ночь.

Вообще, от этих ежедневных собраний – нервы швах, головные боли, сна нет.

Да вся швейцарская партия – насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан. Или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками.

Разбежались левые от нашей помощи – и в Цюрихе, и в Берне. У одного Абрамовича хороши дела, но он далеко. А Гильбо и Бриллиант колеблются.

И вожди молодых, даже острый, резкий, непреклонный Мюнценберг, – потянулись на компромисс. Мюнценберг! – и тот отклонил брошюру Радека! (И уехал Радек в Давос, подлечиться, тоже замучился.)

Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе – конец возни с левыми...

Но – не надо жалеть, хоть и проигрыш. Знал всегда, как гнили европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал.

Не надо жалеть. Что было сделано – не пропадёт совсем безследно. После нас, преемники наши – а создадут левую партию в Швейцарии!

23 февраля назначено было собрание левых – и даже не состоялось: просто не пришли, никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать – сходил впустую, вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь.

Он завидовал – Инессе, Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами: там видишь перед собой не социалистических мещан, а – свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу.

Тут много было и других расстройств. С Радеком – вперемежку дружба и ссоры (он невыносим, когда в академизм лезет), а Инесса и Зиновьев восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем. (А с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность.) То Шкловский растратил партийную кассу. То Инесса вздумала «пересматривать» вопрос о защите отечества – и сколько же лишних убеждений пришлось потратить.

В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу.

Скоро год...

6

Козьма Гвоздев в тюрьме. – Как хотел вести Рабочую группу и как получилось. – Махаевщина, зубатовщина. – «Ах, во том ли стружке»

Правильно говорят: тюрьма да сума дадут ума. В чём хочешь дадут. Прежде-то Козьма по пустякам попадал, сразу и выпускали. А теперь предъявили 102-ю статью Уголовного уголовного: преступная организация, направленная на свержение...

Как и вся Рабочая группа, арестован был Козьма Гвоздев 27 января – но пристигло это его при воспалении лёгких, и дали ему три недели дома отлёживаться, только вот пять дней, как в тюрьму забрали. А ребята уже здесь и месяц.

Дома-то лежать куда полегше – и притекают новости, и газеты читай, и можно письмо отослать-получить, и знал Козьма, как весь рабочий Питер перебудоражен арестом их Группы, и Гучков хлопотал за них грозно. Поднялся шум в их заступу, и не было туги, что вот теперь им сидеть долго, никакого тяжкого наказания не должно бы лечь: ни на кого же не опускалось, всё в стране плыло как пьяное, и вон даже убийц Распутина не арестовывали, – хотя нашего-то брата всегда легче сажают, а возвышенных – не-е... Но с ареста Группы был Козьма как в спине переломан, как палками избит весь: дело делал неправильное? или неправильно? Значит, не совладал все концы стянуть, не укрепил как надо. Да как его было от начала делать? Большевики кричали: «Стачколомы! предатели!» А большие газеты писали: «Они – настоящие патриоты», – и так заляпывали перед большевиками. Но самим заявить: нет, мы не патриоты! мы революционеры! – перед большевиками всё равно не оправдаешься, а перед правительством будешь изменник, тут вас и разгонят.

Так ведь – и патриоты же мы.

То и обидно, такое положение: ни в какую сторону не оправдаться, хоть вовсе дела не делай.

За эти месяцы почтил Козьму двумя письмами сам Церетели из ссылки. И ведь скажи: в Сибири сколько лет, а понимает дело лучше многих питерских. Да, Ираклий Георгиевич, ответил ему Козьма, вот так и я ищу-добиваюсь: ведь кроме нужд рабочего класса есть же и нужды самой промышленности, не останавливать её нашей борьбой. И есть нужды воюющей страны и армии. И всё это надо суметь зарáz пролить через одно русло. И в Европе как-то же умеют, а почему не мы? Да военное поражение России и отзовется раньше всего на ком? – на нас же, рабочих. Классово борись-борись, но не так же, чтоб войну пропереть.

А что ж – пушки хлопайте чем хотите? А наших кройте в окопах – не жаль?..

Но приехал в декабре французский министр труда, и хоть в груди темнилось, в голове темнилось, а выговаривал Козьма за быстроспешными советчиками: «Ознакомить через вас пролетариат и демократию Франции и весь цивилизованный мир, как русское правительство

собственными руками разрушает оборону и стремится погубить свою страну. При удобном случае оно не задумается совершить и ещё одно клятвопреступление, предать своих союзников». Объявились в декабре германские мирные предложения, и совали секретари речь: «Добиться контроля пролетариата над действиями дипломатий!» И другие члены группы, два десятка, поддаваясь чужому уму, выступая там и сям, – чего только не наболтали. Ещё удивляться, что правительство столько времени терпело. С декабря уже так и зажалась группа: не большевики ворвутся громить, так полиция, и отправят всех в Сибирь. 3 января из Военного округа пришло Гучкову письмо: «Рабочая Группа – противоправительственное сообщество, обсуждающее низвержение правительства и заключение мира. Поэтому на каждом заседании Группы должен присутствовать специально назначенный чиновник». Всего-то! Во время такой войны имеет правительство такое право, а помеха будет только листовкам. Так Борис Осипыч Богданов, главный теперь секретарь Группы, напёр: «Не допустить такого издевательства над свободой!» На следующие дни являлся чиновник – отменяли заседание, собирались втихомолку. Тут подходила февральская сессия Думы – и заседал Богданов: демократия должна вмешаться в затянувшееся единоборство между цензовым обществом и самодержавием! самое время ударить! И так объяснял обоесторонне: если и дальше терпеливо сдерживаться – это значит пропустить роковой момент небывалого падения престижа царской власти; а если вызвать рабочий Петроград на улицу, но в неудачный момент – этот призыв может стать роковым для Рабочей группы.

И всё это теперь проводилось не в заседаниях Группы, а между членами её, сокрыто, и сокрыто же слались агитаторы по заводам готовить выступление к созыву Думы. А тут – задержали нескольких членов московской группы (и Пумпянский попался там), обыскали неприимую самарскую, – и Богданов заметался: момент борьбы пришёл, нельзя его упустить! И принёс – «Письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда». Де – собирайте собрания, читайте и обсуждайте. Пользуясь военным временем, правительство закрепощает рабочий класс. Ликвидировать войну должен сам народ, а не самодержавие. Насущнейшая задача момента – учреждение временного правительства! Демократии нельзя больше ждать и молчать! Теперь мы выросли, и пойдём *не там и не так*, как 12 лет назад к Зимнему Дворцу, – мы пойдём с властными требованиями, и пусть не будет среди нас ни одного изменника, который скрылся бы домой от общего дела!

Страсть не хотел Козьма такое пускать – но и удержать не мог. Да каково бы Рабочей группе смолчать, если даже бунтующие бары поносили самодержавие хуже нельзя. И никого их не трогали!

Против сердца, из последних, выпустил воззвание.

И ещё две недели после того не арестовывали Рабочую группу.

Бунтующих бар – не трогали, а рабочую скотинку – всё ж схватили.

Кому что дозволено.

А Ацетилен-Газ – сбежал, не попался.

И кто только не донимал Рабочую группу в предательстве. А вот все они свободные остались, а Рабочую группу посадили.

Тюрьма да сума дадут ума.

Обидно, что Сашка Шляпников небось торжество правит: вот, мол, лакеи, – служили вы, служили, за свою службу и в тюрьму угодили. А я всё время наперекор – и на воле.

Только Александр Иванович Гучков и защищал их: по арестному следу тотчас собирал видных думцев, печатал заявление, что это – тяжёлый удар по национальной обороне, погашает в массах веру в плодотворность общей работы и только усилит брожение в рабочей среде. Да Коновалов выступал в самой Думе, что Рабочая группа была патриотичной, служила обороне и умиротворению политических страстей; что Рабочая группа была оплотом против других опасных течений в рабочей массе, а правительство бессмысленно разрушило её; совсем же не

вмешиваться в политику рабочие никак не могли, когда все другие вмешиваются, а правительство – так прямо ведёт страну к гибели.

Козьма и его однодельцы в Крестах уверены были, что Протопопов уже сам напугался, их арестовавши, что правительство не выдержит, долго им сидеть не придётся.

Гнело Козьму не то, что из тюрьмы не выпустят, – а как он с делом не управился.

Нет в жизни простоты и прямого пути, всё закручено, и у всех головы закрученные. И меж ними вот – равновесь.

И гучковский промышленный комитет – тоже вода тёмная. За отечество они вроде и стояли, а денег своих тоже нигде не упустили, даже и сильно приращивали. За отечество – да, но и власть в том отечестве они хотели сами захватить, это верно.

Уже из-под домашнего ареста, сносаясь, передал Козьма по заводам и убедил: не надо к открытию Думы общей забастовки. А – все к станкам. Дольше бастуем – свои же силы ослабляем. Наши же интересы зовут нас к станкам.

Как мог, так вёл Козьма. Настрелился. Всё что-то упустил, не так делал, прошибался, и все были недовольны. А посадили – заботы с плеч. Отдохнуть теперь на тюремных нарах.

Да не отдыхалось, скребло. Не манило и освобождение: опять идти в контору на Литейный, и опять всё та же затурмучка.

Пока в тюрьму принимали – прикоснулся Козьма и уголовников. И опрокинулось всё, как ни царя нет, ни Думы, ни социал-демократов, – а вот упрут сейчас твои любимые сапоги с лакированными голенищами, на пол не ставь, да смотри и с ног не снимут ли. Четвёртый десяток жил Козьма в исполгающем слое, ниже которого будто и не бывает. А вот, узнавалось, и пониже вас люди есть: тёмные, буйные, от которых и самое скромное имущество береги, да опасайся, чтоб они тебя самого революционно не скovyрнули. На воле такие люди порознь живут, на село, на слободу – один-два, конокрад или вор известный, жулик, мазила, порою в шайки стягиваются, но шайками вместе их никто не видит, а в тюрьме они вот собраны. Поглядишь: а вот ежели эти когда плечами двинут соединённо – так что будет?

А приняли Гвоздева в больничную камеру, и тут нашёл он двух своих – Комарова с Обуховского и Кузьмина с Трубочного. Жалко не с Богдановым. Пока по одиночкам их не рассовали – заняли три койки рядом, – и уж вот толковали вдоволь.

В каменном мешке – а думка вольна.

Перетолковали все рабочегруппские дела – и ни хрена не вывели: как же им правильно было?

А из давнего вспомнили такую называемую «махаевщину». Откуда она взялась? – никто не знал, а среди социал-демократов никак её не звали иначе как «махаевщина» и запрещали знать. Оттого ли «махаевщина», что рукой махнуть? Говорилось по той махаевщине, что интеллигенция – это паразитский класс, который живёт за счёт рабочих, а хочет господствовать надо всем обществом. Для того интеллигенты пока льстят рабочим, что они – самая прогрессивная часть человечества, а между тем внушают идеи, которых рабочие не в силёнках ни проверить, ни оценить. Такой обман есть и социализм: всё это подстроено, чтобы белоручкам захватить власть. По махаевщине же выходило: не надо рабочему классу брать власть, пока он не имеет образования, – обманут его, а надо вести борьбу только экономическую.

А ещё ведь жив, невесть где, Ушаков – наш, рабочий. Заклевали его. Он тоже говорил: зачем нам царя свергать? Трудящийся не может быть у власти, потому что необразован. А захватят власть господа интеллигенты. Так лучше пусть царь призовет выборных от народа и будет с ними советоваться.

Вроде и верно, а?..

А ведь был же и Зубатов, вспоминали теперь с ребятами. Зубатова тоже проклинали социал-демократы и чтоб его не вспоминать иначе, как чёртом. А он, с крупных полицейских постов, то же самое говорил рабочим: зачем вам конституция? зачем вам политические свободы? – всё

это нужно только вашему врагу, буржуазии, чтоб усилиться самой, и против власти, и против вас же. А вам нужен 8-часовой рабочий день и повышение зарплаток, – так этого вам самодержавие ещё лучше добьётся от фабрикантов, вы ему – верные сыновья, правительство вас и поддержит, а буржуазия – она-то и бунтует против государства.

А может и верно?

И одно время, в их троих ещё неразумную молодость, говорят, зубатовцы брали в Москве полный верх, и социал-демократов забили.

А вот почему-то не вышло.

Надёжа рабочего – только свой рабочий, верно.

Ежели переворот, то без образованных – никак не обойтись ведь. Как же без них страну управлять? Ведь на какое ремесло кого нанесло. Государство вести – обык особенный.

А доверься образованным – они сразу и запутывают.

Закружилась, запуталась и Рабочая группа – и всё рабочее дело – и даже матушка Русь – и нет концов.

Уж поздно было, а сон в башку не входил, отоспались тут.

Раскинулся Козьма на койке, руками-ногами на все четыре угла, волоса его вольные вперепут, с верхней губы чуть усишки покалывают, не брил их этот месяц домашнего ареста, – и смотрел, смотрел в свод потолка. Беловато-серый, ровный, а где отколуп, где пятно – на каждое смотришь, как на что-то важное, койкой плывёшь под ним, как под небом.

И повёл вполголоса:

Ах, во том ли стружке, во снаряженном...

А свои ребята рядом подвзяли:

Удалых гребцов сорок два сидят.

Как это с песнями? Совсем о другом, а о твоём тоже:

Как один-то из них, добрый молодец,
Призадумался, пригорюнился.

Ещё и от другой стены стали вытягивать – наше-то, общее, все знают:

Эх, вы братцы мои, вы товарищи!
Сослужите вы мне службу верную...

А просить-то – изо всего целого мира только и осталось, только и выдохнуть:

Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утопите вы в ней грусть-тоску мою...

Так попели немного, всё протяжные, всё грустные, – на сердце помаслилось, утишело. И так, волос не распутавши, в подружку-подушку – унеси меня на ночь, да подальше!

7

(К вечеру 23 февраля)

*Неожиданность событий этого дня в Петрограде. –
Их ход. – Вечернее совещание в градоначальстве.*

Для петроградского полицейского начальства события этого дня – и возникновение, и ход их, и окончание – остались необъяснимой случайностью. Ни единый сигнал осведомителя не предупредил о них, да видно, и из партийных вожakov никто вчера вечером заранее ничего не задумывал.

Разве только вот что: революционеры всегда придираются к какому-нибудь *дню*. 9 января у них не вышло, в день открытия Думы не вышло, а сегодня какой-то у них «международный женский».

Немногие забастовки начались сегодня утром на Выборгской и Петербургской сторонах, когда там не достало в лавках чёрного хлеба. Почему вдруг не достало? В пекарни отпускалось ровно столько же ржаной муки, сколько и в предыдущие дни, из расчёта полтора фунта на жителя, а на рабочих по два. Правда, никто не проверял пекарей, даже и мысли о таком контроле не возникало. (А между тем многие из них стали не выпекать хлеб, но продавать муку в уезд, где она была вдвое дороже.) Недостать могло по единственной причине: возникшему неудержимому слуху, что мука перестанет доставляться в Петроград, что скоро в городе будут ограничения в хлебе, то ли меньше его будет, то ли выдавать по карточкам, – этот слух мог возникнуть как отзвук думских прений и проекта городской думы вводить карточки. Этот слух мог быть развеян настойчивым правительственным объяснением, либо уж введением карточек, устойчивого распределения, – но ничего подобного не сделано, и слух загорелся: надо запастись, сушить сухари! А так как в руки отпускали сколько угодно, то покупали вдвое и втрое, – и кому-то хлеба не хватало.

А те рабочие, которые с утра забастовали, – по известной изученной тактике, чтоб самим было легче, – шли на соседние заводы, силой выгонять других. Само собою были закрыты администрацией ещё вчера крупный Путиловский завод и его верфь – из-за того, что уже несколько недель на этом военном заводе упорно нарушался порядок работ – с какими-то дикими требованиями, как будто по чьему наущению: сразу добавить половину заработной платы. Но за весь этот день закрытие Путиловского не успело с Нарвской стороны ни распространиться, ни повлиять на столицу, и как раз Нарвский район оставался спокоен. На Франко-Русском заводе на Пряжке собрался трёхтысячный митинг, высказывались и бастовать, и против, были голоса против войны, но говорили и за, все бранились о недостатке чёрного хлеба, а разошлись спокойно, не забастовав. Не были затронуты волнениями ни Охта, ни Пороховые, ни Московская и Невская стороны. Забастовки распространялись там, где они начались, – на севере столицы, а пока оттуда не был закрыт переход мостами – перенесены в Литейную и Рождественскую части.

А быстрее забастовок в этот день распространилась по столице новая шутка: отнимать трамвайные ручки. Всем понравилось, огненно-весело распространилось по городу, полтора десятком вагонов закупили все линии, а сотня трамваев сама уехала в парки. Вечером в Лесном рабочие опрокинули один прицепной вагон, но как озорство, – и стояли рядом, не мешая полиции поднимать его.

Не любили полицию, все до последнего переняли кличку «фараоны».

Другая мода пошла – бить стёкла в лавках и разорять, а то и грабить. Начали с булочных и с мелочных лавок, но когда толпа валила по Суворовскому или по Большому Петроградской стороны и подростки впереди били уже кряду все магазинные стёкла – как было толпе удержаться? – стали грабить и овощные, и зеленные, сгребали и выручку из кассовых ящиков. Вечером на Смольном проспекте ограбили уже и ювелирный.

И везде до прибытия полиции толпа разбегалась. Толпа нигде не хотела биться, без труда разгонялась полицией повсюду, но, рассеянная в одних местах, упорно и тотчас собиралась в других. Правда, за день случились и нападения на полицейских и на заводских мастеров, несколько их отправлены в больницу, кто без сознания, или с вывихом челюсти, или с переломом руки. А кроме сторонников порядка – увечий не понёс никто. При всех разгонах, – а на Большой Дворянской разгоняли толпу в четыре тысячи, на Литейном, на Невском по тысяче не раз, – не был повреждён ни один демонстрант. Нигде не было применено оружие, и за весь день в городе не раздалось ни выстрела. Не был высунут за весь день и ни один красный флаг, ни лозунг, толпа не была никем никак подготовлена, и не замечалось у неё руководителей – даже у Казанского собора, самого чувствительного места столицы, самого излюбленного революционерами, откуда всегда всё в Петербурге начиналось.

К вечеру стал восстанавливаться порядок и на Петербургской стороне и на Выборгской, снова беспрепятственно пошли по всему городу трамваи, возобновилась и обычная вечерняя жизнь Невского, хотя рабочие необычно присутствовали здесь, гуляли среди барственной и состоятельной публики, тем пугая её. Патрули городских под руководством приставов «сортировали» публику, изгоняя пришельцев с чёрных окраин, с молодёжью это опять приняло характер игры, довольно беззлобной.

Так в этот день обе стороны начали, как нехотя, самонавязанный как бы спектакль.

В ходе дня градоначальник Балк просил для полиции армейской помощи – и получал наряды из полков 9-го кавалерийского из Красного Села и 1-го Донского, только что прибывшего в Петроград и пополненного новичками. Донцы лениво вели себя, но кое-где всё же помогали.

И поскольку днём привлекались к действиям отчасти и войска, то поздно вечером в градоначальстве совещание возглавил командующий Округом генерал Хабалов. Командующий же петроградской гвардией (а главным образом гвардия – только по названию – в Петрограде и стояла) генерал Чебыкин незадолго перед тем уехал в отпуск – и командиром гвардейских частей и, значит, начальником охраны столицы стал полковник Павленко, недавно с фронта, ещё не долеченный после тяжёлой контузии, больной и совершенно не знакомый даже с расположением петроградских улиц.

Департамент же полиции, ни начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв не имели сведений объяснить происшедшее сегодня и не могли указать на мотивы выступления. Они не исключали стечения случайностей, среди них – и наступившую хорошую погоду. Уже много месяцев Охранное отделение предупреждало о нарастании революционной ситуации вообще. Но именно в эти последние дни – ничего не предвидело. И – по какому же поводу возникло?

Голод? Никакого голода в столице не было. Купить можно было решительно всё без карточек, а по карточкам – сахар. Благополучно было с маслом, рыбой солёной и свежей, битой птицей. Вероятно, следовало теперь объявить населению, что муки достаточно.

А все остальные признаки были благоприятные, начальник Охранного отделения склонялся предположить, что завтра волнений вообще никаких не будет.

И на совещании в градоначальстве никто не предложил и не принял никаких решительных мер. Несмотря на ранения нескольких полицейских и заводских мастеров – не предложено

было кого-либо арестовывать или разыскивать. Лишь приказано было войскам на завтра быть готовыми занять отдельные районы города.

Градоначальник обо всём писал рапорт министру Протопопову, который, впрочем, и своими глазами всё сегодняшнее мог видеть.

А надо ли было командующему Хабалову докладывать в Ставку Верховного? Да как будто ничего такого не произошло, о чём должен был докладывать строевой генерал.

Была уверенность, что порядок завтра будет водворён. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи, с Гороховой разъехались по спящему, мирному полутёмному городу.

А заседания Совета министров в этот день вообще не было: они обычно собирались по пятницам, значит завтра.

8

Ольда. – Шапка для боярыни. – Сам открыл?.. – Сквозь ночь вопросы и ответы.

Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза – увидишь грубо беленную стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но всё ж не задумом, а постепенно укачавшемся, умирившемся, а с ним и все тени очертились определённо по стенам. И – полно и глубоко под морозными звёздами молчание Мустаяк, самого далёкого, глухого петербургского дачного места.

Эта старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают, так и не подсохла хорошо, ещё не прогрелась от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сидении тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днём – Георг не открыл главного, от чего решительно менялась вся обстановка.

Ещё они ходили гулять под лёгким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью, и Ольда как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвись «ты», или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки, – так что её любимые старички предположить не могли, что Ольда Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. «Sic itur ad astra!»¹ – повторял Воротынцеву старичок своё первое суждение о первой книге Андозерской.

Женщина выдающихся качеств, как Ольда Андозерская, имеет свои особые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатали лучшие её годы, и за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные её. А ещё стесняло – само профессорство: не спутник для женщины тот, кто ниже её. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольда любила и вслух повторяла Марину Мнишек:

Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь – не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгких мужа.

¹ Так идут к звёздам (лат.).

Покрыть голову не той короной – это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой.

И Ольга Орестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда, а приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и лстящей броне она и ходила посегодня – но втайне знала, что внутри неё вот посквозило неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнуемый запах старых книжных корешков (а раскроешь книгу – удар запаха! потом он слабеет, но всё ещё уловим) – в самые счастливые часы работы, стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она – одна, одна. Столь несомненно превосходная – но и никем не доискиваемая?..

В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилия не понадобилось, так радостно и послушно он пошёл, – даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности, – резвый, необструганный. Как деревенский парень смышлённый, за пахотой не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого «Г» – только коса, а «С» – серп, не буквы, а подучить его – уже б и гимназию кончал. Но он занял те осенние шесть дней её так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чём угодно – о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете, – только обминул спросить о самой женской жизни её, как бы вообще не предполагая этой стороны, – всё из той же неграмотности?

Ольду тоже затянуло тогда, но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие, – а представить себя открыто связанной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал, писал хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы всё больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг, и свой собственный озноб начинал бить явственней, – и Ольде вдруг так просто уяснилось: вот именно он бы и был ей муж! Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен: а как он соотносится с профессором Андозерской? – и если мельче, значит, вышла по безвыходности. А боевой полковник? никому и в голову не придёт прикладывать эту мерку, все примут как её чудачество: выйти за офицера! Если на маленькую голову её, начинённую мыслями, не находилось точёной короны – пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи.

И она звала его – приехать сейчас в Петербург. И, ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в её тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетёсаной увальности ещё сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдёт не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой, это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно.

Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог, – он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках перед распахнутой печной топкой, как перед камином, всё клали, всё клали дрова и не сводили глаз с огня, в благодатном пышенье его. Рядом с Георгом Ольга весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал её, складывал, изгибал, всю забирал, играл с её волосами, то распушивал вокруг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом, как в пену. И вдруг – рассказал...

Изумительная своеобразная тупость! Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть (хотя, видно, побаивался), а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далёком доме у пляшущего огня. Рассказал, что ещё тогда, в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей...

Как? То есть – *как*? Сам? Без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он (сладко у сердца, котёнок в незнакомых руках) уже тогда, в неделю готовый, начать расставание с женой? Он объявил ей своё *решение*? Нет... Так тогда – зачем же?

Обрушилась крыша, выбило стекло, морозный воздух тёк на них через пролом, уже не действовали больше законы огня, — а он так-таки ничего не понимал, для него ничего не изменилось, всё так же тянул её к себе на колени.

Но из котёнка отяжелел в уют клиновидный, Ольда осела, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять: *что* он имел в виду, когда объявлял жене? (Трудней всего было добиться.) И как вела себя жена? И как потом он? И опять она?.. Оказалась тут долгая история, Ольда сжигалась, а Георг не мог точно всё рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что за чем шло и кто точно как говорил, он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу...? Да всё потому же. И — долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва тогда в октябре и до его сдачи...

— Какой сдачи?

...как изменилось его соотношение и с женой и с Ольдой, он понимает?

Нет, честно: не понимал, ничего не изменилось.

Не изменилось, если он никогда серьёзно об Ольде не думал.

А в этом письме жены, тогда в Ставку...? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно! Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжём лампу. И опять — за стол. О, как томительно. Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы, и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилёва? Ну, вот этого, убей, никогда не помню, написал и тут же отвалилось, я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в восемь лечь, смотри — второй час ночи. Ну что об этом, прошлом, — опять и опять?

Спать, спать, он влёк её и согревал, сам искренне не изменяясь и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут уже, у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно, так что и верчение ольдиной бессонницы несколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения.

И вот ночные часы, уже вынырывающие к утру, Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, всё более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом и во сне его решала его будущее, даже безповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход.

Двадцать четвёртое февраля Пятница

9

Простак Воротынцев. – Как на вечной войне. – Ничего, всё в мире исправимо.

– Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты естественно уезжал на фронт – и хорошо. Зачем же ты завёл с ней разговор?

Не отвечал, не шевелился почти.

– Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал проявиться, укрепить собственному чувству. На это немало времени надо, но оно у тебя как раз было. А ты сам оттолкнул его.

Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался.

– Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничьё другое. А ты всё вручил ей, как *она* решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей.

Ну, не очень-то. Он только...

– Как же нет? Смотри сам... И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать беспристрастно.

Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно.

– Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться – должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам – тогда бы объявили ей.

Ну, может быть, это тоже не совсем честно...

– Дорогой мой, мы – нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что... Но и не так же быстро! Мы себя обокрали, чего-то у нас теперь нет, и нужно время, чтобы это восполнить.

Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью.

– А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум.

Ультиматум? Никакого.

– Да вот то письмо! Самый настоящий ультиматум: немедленно выбирай! Одну из нас не увидишь!

– Да какой же это ультиматум, Ольженька? Это просто – раненый крик.

– Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством, – вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она – в выигрышном положении: у нас с тобой только розовое начало...

Нет, алое! – это не словами...

– ...ещё никакого прошлого, – а у вас там десять лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых, вырваться кажется невозможным: всё крушить? ломать? всем объяснять?

– Но знаешь, если и получилось у неё так, то не из расчёта... Не из расчёта принудить и вернуть, а – выход из горя, хотя бы путём жертвы... Она готова уступить...

– Где ты видишь жертву? Она жертвует тем, чего у неё уже не было. Только подтверди, что я – первая и несравненная! Она рискует, не рискуя. Достаточно зная тебя, как ты её – не знаешь.

– Но ты – тем более не...

– Нет, я – знаю! Даже вот по этим её приёмам. Она «отпустила» тебя – и этим сразу победила! И угрожала самоубийством. Безовестный приём. И ты – сдался!

Очень омрачился.

– Хотя это касалось и моей судьбы тоже. Ведь ты сдавался – за нас обоих.

– Судьбы! Вот начнётся весеннее наступление – может убьют, и не то что судьбы, и не то что меня, а и вообще никакого Воротынцева на свете не останется.

Стихла:

– Жалеешь, что – нету?

– Раньше не жалел, а вот стал.

– Не жалей. Для смерти – может быть. А для жизни... Я – никогда и не хотела. Ребёнок превращает мать – единственно в охранительницу, и это сковывает всё творческое, останавливает развитие личности.

Но – не уклоняться:

– Ты нарушил не счастье её, а беспечный покой. Я ведь – не на её место пришла. Она тебя потеряла за годы, когда вы ещё оба этого не знали. А теперь – ринулась скорее подчинить тебя вновь.

С сожалением поглядывала на этого воина, такой растяпа против женского тканья. Искала понеобидней:

– Ты был – глинокоп. Тебе ничего не попадалось, кроме глины. Прости меня, ты просто ребёнок. – Поцеловала, приласкалась. – Но так жить нельзя. Ты погибнешь.

Чуть приласкала неосторожно, – а он совсем, оказывается, и не ребёнок. И – разорвана вся лекция, рассыпались доводы, как из прорванной корзины, она ещё пыталась держать связь речи, убеждение сейчас важнее всех забав, – но нет, не слышал уже всё равно.

И опять лежали, куда спешить. Подниматься – так сразу дрова готовить, кончились. А не поднимаясь – вот тут, у плеча и на ухо, как ангел или бесёнок, тихим методическим наговором, ещё сколько ему можно неуклонно вложить.

Он слушал, слушал, и:

– Всё-таки это ужасно. Меня удручает. Неужели между мужчинами и женщинами – как на вечной войне? Так жестоко, расчётливо, сложно? А я думал – только тут и отдыхают.

Не убедила.

Бои-то ему и предстояли, а он никак не готов.

– Как обмывают порез – не в горячей воде, не в тёплой, а в холодной, – вот так надо и тебе с Алиной объясняться. Твоя ошибка, что ты распустил всё в теплоте и сам в том раскис. А в *таких* делах нельзя быть добреньким: это и есть море тёплой воды, в нём всё безнадежно размокает.

– Да, но... Ты как-то неправильно думаешь, что я её – не люблю? Ты пойми, я её – люблю, Алину!

Вот этого – она как раз не принимала. Этого наверняка не было. Если б он любил Алину (это – не ему) – он не пошёл бы в руки так готовно, за несколько взглядов, сразу. Но и надо же цель поставить. Как идти. Он этого не умеет... а самое было бы безболезненное:

– Послушай, не надо рубить жестоко, не пойми меня так. Но... было бы легче, если бы у неё появился утешитель. Ты не думаешь? Это возможно?..

Настолько не понял – не поддержал, не расспросил, как не заметил.

Не глинокоп, но – глина сам и которая плохо лепится. Надо бы здесь остаться подольше. Нужны – ночь и день, ночь и день, ночь и день, чтоб его пропитать собою и этим соком выме-

стить всё, чтоб не мог бы он жить без Ольды во всём себе. Это – входит. И в такого – особенно входит. И Ольга – умела входить.

Да уж полдня прошло! Проголодались как! И дрова заготовить. Вскочили. Одевались. На остатках, околках кипятили чай, грели котлеты. Бодро побежали с санками, бревно подвезти.

Воздух был снежный, от выпавшего ночью. Нерушимая карельская хвоя ещё держала на ветках снежный напад. На скользянках Ольга прокатывалась с разгону, по-девчёночки, держась за его локоть, сдвигая ботиками снег с темнеющего льда, а Георг подбегал рядом.

Всё в мире казалось весело, исправимо.

Привязали бревно, притащили, пилили на козлах двуручной звенящей пилой. И Георг всему в ней удивлялся: да как ты бойко бегаешь... да как ты тянешь, пусти, я сам. И пилишь неплохо, это просто редкость.

– Я же в таком глухом уезде росла, почти деревня!

Уже и пар от них валил. Ну-ка, как сердечко, дай попробую. Да у тебя оно под самой кожей, вот тут, выпрыгивает.

И меняясь в голосе и в руке:

– Хватит пилить, пойдём! Я сам dokonчу, а пойдём!..

10

Фрагменты. Утро в Петрограде.

С утра по петроградским улицам было расклеено объявление:

«За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идёт непрерывно.

Командующий войсками Петроградского Военного округа
ген. – лейт. Хабалов».

От уговариванья – не верилось. Слухам всегда больше верится, чем властям.

И откуда этот Хабалов взялся, с фамилией разъявленной, похабной, хабалить – значит нахальничать. И зачем бы это обывательским хлебом распоряжаться – командующему войсками Округа?..

* * *

Градоначальник (начальник городской полиции) генерал-майор Балк, назначенный недавно, из Варшавы, а Петроград ещё зная мало, сегодня с раннего утра объезжал главные места сосредоточения полицейских нарядов. Выходил из автомобиля и обращался к строю со словами уверенности, что чины полиции поработают даже сверх сил – для спокойного положения на фронте. И звучали ответы и выражал вид полицейских, что – понимают.

Но в бравости своей были уже отменены. Все они знали, что им запрещено применять оружие, а против них – можно. Они знали своих вчерашних раненых и избитых в нескольких местах столицы. Им – стоять на постах уединённых, мишенями для гаек и камней, когда войска усмеваются сторонне, а толпа видит, что власти нет.

В закрытом дворе городской думы – в самом центре города, а населению не видно, был стянут большой отряд городских и жандармов. Балк объявил им: распоряжением министра внутренних дел тяжело раненные вчера два чина полиции получают по 500 рублей пособия. (А им жалованья-то в месяц было 42 рубля, многие рабочие больше них получали.)

* * *

С раннего утра, едва собрались рабочие на заводе Щетинина, на комендантском аэродроме, – митинг. Оратор призывал:

– Товарищи! Моё мнение такое: мы должны все как один приступить к насильственному обоюдному делу, и только таким путём мы добудем для себя насущного хлеба. Товарищи, запомните ещё: что долой правительство, долой монархию и долой войну! Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями, выходите из завода, крушите лавочки с руки!

И все рабочие вышли, ворвались и во двор соседнего завода Слесаренко, выгнали всех оттуда. Вожак дальше:

– А теперь, товарищи, взойдём на железную дорогу и сделаем передышку.

Взошли на полотно, остановили пассажирский поезд. Отдохнули. А потом:

– Пошли всей кучей к Государственной Думе, на трамвай никто не садиться, а вдоль трамвайной линии начинайте действовать по лавочкам!

* * *

На всей Выборгской стороне завод Эриксона – самый обеспеченный и самый мятежный. Кому по хлебным лавкам, а эриксоновцам – на Невский! Бастовать – так не по домам сидеть, а пусть буржуи трясутся.

Только Сампсоньевский проспект после завода – узкий, и две с половиной тысячи эриксоновцев колонной своей – весь закупорили. А впереди, ещё много не доходя до Литейного моста, – на конях казаки, выстроенные ещё с последних фонарей, при первом брезге утра.

Жутко. С шашками кинутся если сейчас – порубят, деваться некуда, не защититься и не бежать.

Однако уже – и сошлись, спёрлись в узости.

А фланговый казак тихо: «Нажимайте посильней, мы вас пропустим».

Но офицер скомандовал казакам: ехать рассыпным строем на толпу. И первый – врезался, пробивая путь конём.

А казаки – подмигивают рабочим. И – стягиваются гуськом, в коридор за офицером. И – тихо, по одному, не давая и шашек не вытаскивая.

И рабочие, от радости невиданной:

– Ура-а-а казакам!!!

Всем заводам дорога чистая к Литейному мосту.

* * *

Донесения в градоначальство просто не успевали. На Петербургской стороне вчера первые начали бить лавки, хлебные и мелочные, – обошлось, понравилось. И сегодня именно здесь продолжали. С утра разграбили мясную лавку Уткина на Съезжинской, – хотя не о мясе шёл спор, а как-то само пошло: камнями – в стёкла, там одна баба вперёд, за ней и все, и – кур, гусей, свиные окорока, бараньи ноги, куски говядины, рыбины и масло плитками безо всяких

денег захватывали и уносили. (В тот же день пошла полиция с обысками по соседним домам. У кого и нашли, а кто подальше жил – тютю, всех не обыщешь.)

И чайный магазин заодно разграбили: чай-то, он в руках лёгкий, а дорогой, чаю полгода не покупать – экономично. (Захватили городовые двух баб и одного подростка, увели.)

А откуда-то поутру уже и толпа стянулась из малых улиц тыщи три – просто люди-жители и ученики разные, в формах своих и без форм, и студенты – вывалили с Большого проспекта на Каменноостровский, всю мостовую забили – и наддали к Троицкому мосту. Пробовали петь, но недружно получалось, не все знали, что ли.

Казачий разъезд нагнал на толпу – разбежались.

Разбежались легко и, кажется, без обиды: вы – гонять, а мы – бежать. Привычно.

* * *

Стоят солдатики перед Литейным мостом.

Стоят не слишком бравые, иные ремнями, как кули, увязаны, еле туда в шинель упишаны, но форма единая, винтовки единые к ноге, – и оттого как бы строги. Стоят, молчат – и оттого строги.

А – что будут делать, ежели...?

Это – девкам лучше всего узнать. Мужчинам штатским к военному строю подходить не положено, неприлично: а ты, мол, почему не в нашем строю? Да и опасно: какой-нибудь там пароль пропустишь – хлоп тебя на месте!

А девкам – льготно. По две, по три под ручку собрались – и подкатили к самому строю, зирками постреливая, посмеиваясь или семячки полускивая:

– Чего эт' вы, мужики, сюда притопали? Немец – не здесь, ошиблись.

Ежели что штрафно или смешно – так это на вас ложится, не на нас: войскам на улицах делать нечего всурьёз, а мы – бабы, у себя на Выборгской вот семячки лускаем.

Солдату из строя – не очень отозваться, дисциплина. Только улыбнётся какой украдкой. Девки-то – кому не понравятся? Ещё молоды, фабричной сидкой не замотаны, губы свежие, щёки румяные.

Да к строю самому вплоть не подойдёшь – впереди прапорщик похаживает. Хмурый очень. А сам-то молоденек, тоненек.

– Ваше благородие, что это вы больно хмурый какой? Или невеста изменила? Так другую найдём.

Засмеялся:

– А какая на замену?

– Да хоть я, – облизнула губы. Разговор совсем вблизи, девки слышат, солдаты нет, полиция нет. И ещё зырнув по сторонам: – Слушай, неужель в народ пришли стрелять, а?

Аж залился:

– Да нет конечно! Да позор такой. Ничего не бойтесь, мы не тронем!

Стоят и казаки конные поперечной цепью. Смирны, рабочие с ними заговаривают, те отвечают. Тогда из толпы стали прямо подныривать под казачьих лошадей и так пробираться дальше. Казаки не мешали, посмеивались. Тут подъехала конная полиция и пронырнувших загоняла назад.

* * *

А меж тем солнышко пробилось и заиграло не по-питерски. Морозец спал, только что не тает. С крыш капель посочилась.

Кому время пришло – это подросткам. Озорство – и дозволено, надо ж! Что к чему – это взрослым знать, а нам! – с палками по Лиговке бегут и в мелочных лавках стёкла бей! бей! бей!

В шести разбили – дальше пробежали. И не поймаешь.

* * *

А собралось нас, чёрного народу, видимо-невидимо. Всю Пироговскую набережную установили, и на Полюстровскую крыло и на Сампсоньевскую. Со всех заводов поуходила Выборгская сторона, изо всех улок выперла к набережным – тысяч сорок нас, право. А – чего дальше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.